

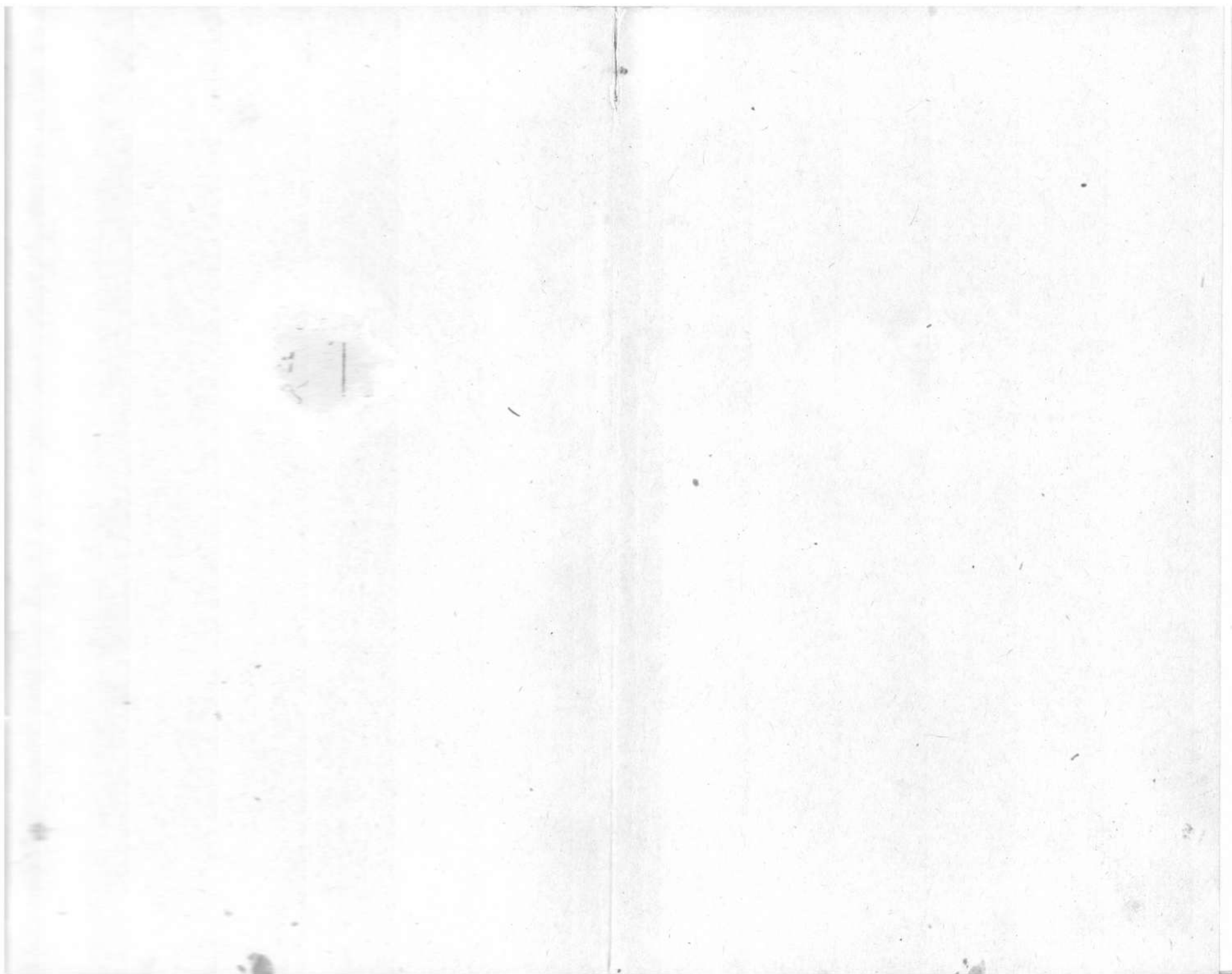
P2
Г98

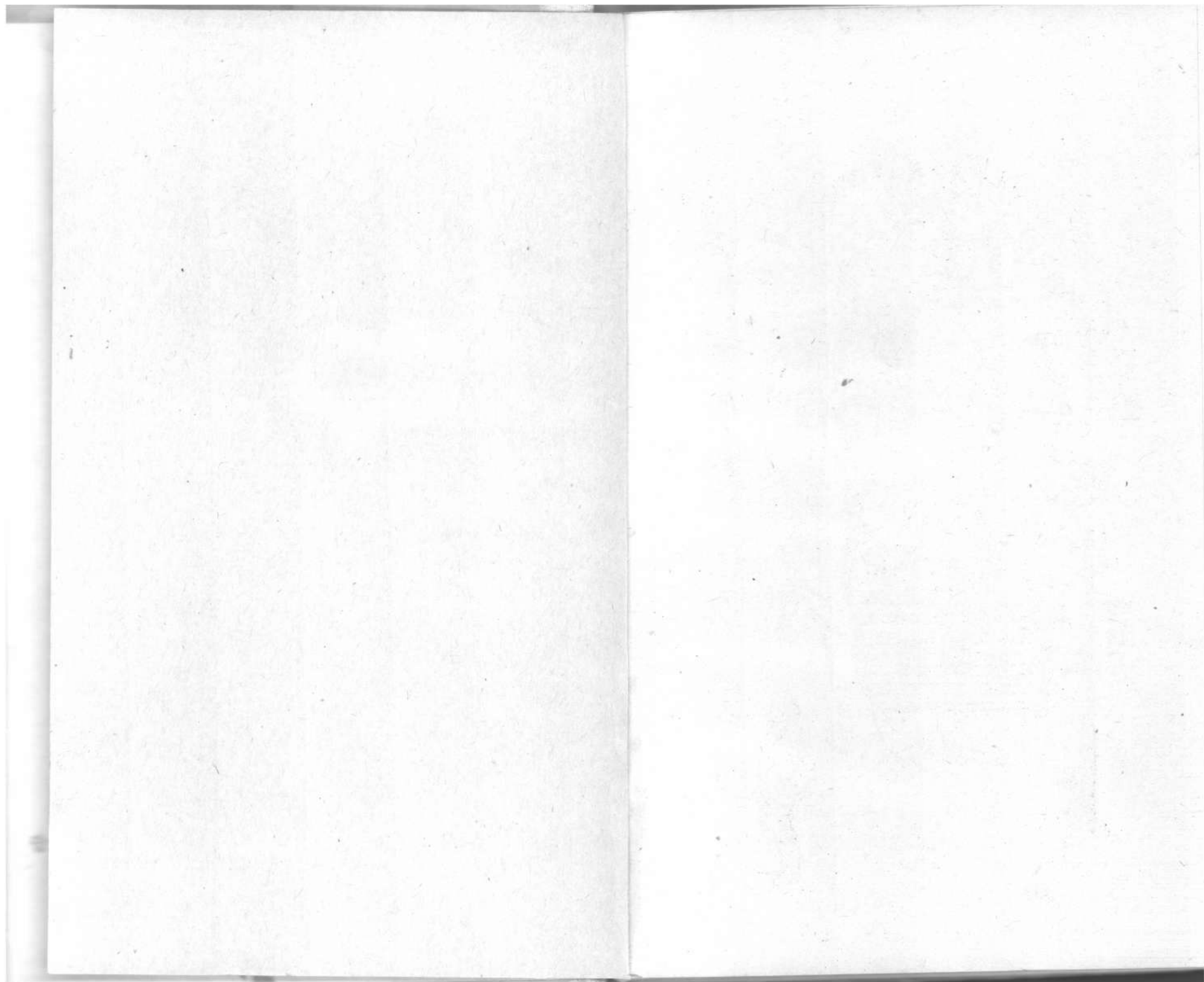


Е. Тушин

ЛУНА СВЕТИТ, СОВА КРИЧИТ









ПОНЕДЕЛЬНИК

В пятницу мы на стройке не оставили ни одного кирпича. Впереди нам улыбались целых два выходных дня, настроение отличное, и мы лезли из кожи. И хотя за полчаса до конца работы еще подошла машина с кирпичом, мы, что называется, ошметинились, вчетвером уложили в стенку все до одного кирпичика.

И теперь вот, в понедельник, на разгрузочной площадке лежала рыжая кирпичная пыль да мелкая щебенка. А больше — ничего. Мы тоскливо огляделись, сели возле лесов на солнышке покурить, а мастер побежал звонить в управление.

Возвращался он медленно, словно нехотя. Лицо у него было скучное. Мастер сел рядом с нами на горбыли, заляпанные сухим раствором, виновато улыбнулся.

— До обеда, ребята, кирпича не обещают. На соседнем объекте прорыв, туда все бросили.

— Вот так всегда, — сказал Лешка, презрительно сплевывая. — Сначала сиди, а потом, когда сроки прижмут, вкалывай дотемна.

Мастер вздохнул. Он посмотрел по сторонам и сказал:

— Вон, видите, кусок кабеля торчит? Мы видели.

— Он длинный, метров семьдесят. Выкопать его надо, а то сантехникам мешать будет. Возьмитесь, я наряд выпишу.

Непонятно: приказывал или уговаривал? Это было важно выяснить, и мы задумались. Если приказывал, его можно послать подальше: мы не подсобники, а каменщики. Дай нам работу по специальности. Нет материалов, что же, будем ждать, пока не привезут, а ты за простой тариф отдай — не грехи.

Сложнее, если уговаривал: и обидеть хорошего мужика не хотелось, и с кабелем возиться особого желания не было. Пока мы выжидательно молчали, Сашка вдруг начал каблуком сапога затаптывать окурки. Старательно, торопливо он его затапывал. Мы с тревогой уставились на стоптанный каблук Сашкиного кирзового сапога. И — ждали.

Ни на кого не глядя, Сашка поднялся. Взял возле бетономешалки лопату, ударил плашмя, сбивая присохший цемент. Нам троим другого ничего не оставалось, как тоже подняться. Взяли лопаты, лом, подошли к торчащему из земли куску черного кабеля, на котором от раннего, но уже сильного солнца плавилась смола, принялись за дело.

Кабель лежал неглубоко, где-то на полметра. Сначала мы долбили ломом укатанную бульдозерами и грузовиками твердую, как камень, землю, потом лопатами выкидывали ее по обе стороны траншеи, добирались до кирпичной коробки, ограждающей кабель сверху и с боков, выкидывали кирпичи и поднимали кабель.

И хотя был понедельник, день, как известно, тяжелый, но начинался он, независимо от нашего настроения, бодрый и звонкий. Солнце быстро поднялось на проектную высоту, плавилось над нами уже в полную свою силу. Рыжая кирпичная стена, выложенная нами, казалась, обожжена солнцем, от нее волнисто струился горячий, сухой воздух.

Мы вспотели. Скинули мокрые рубашки, майки и сели покурить. Лешка притащил горбыль, подложил под конец пару кирпичей, постелил рубашку и лег загорать. Тело у него было красивое на удивление. Мускулистое и гибкое. Кожа бархатисто-коричневая от ровного и крепкого загара, который сходит не скоро.

Любовались Лешкой, завидовали. У нас с Сашкой

такого загара не было, хотя на лесах работали обычно без рубашек. Видно, уметь надо. Да и фигуры наши не столь гибки, как бы хотелось. Что касается Юрки Мухача, то он хотя и жилист, но тонок, длиннорук. Мухачом мы его прозвали вот за что: однажды всей бригадой пошли во Дворец спорта на бокс. Там один в синей олимпийке, как оказалось, тренер, все приглядывался к Юрке, потом оттащил в сторонку, быстро заговорил:

«Хочешь, мухачом сделаю?»

«В каком смысле?» — оторопел Юрка.

«В смысле бокса. Рычаги у тебя длинные, далеко пойдешь».

Юрка отказался. Отца у него нет. Только мать и две сестренки-школьницы. Когда мать уходит на завод в ночную смену, Юрка остается с сестренками. Он их очень любит. Помогает уроки делать и вообще заботится. С каждой полочки что-нибудь им покупает.

— Тяжело сегодня, — говорил Лешка, щурясь на солнце. — К батьке в деревню ездил, там свекольной самогонки наелся. До сих пор башка как чугунная. Литра полтора, наверно, съел.

— Как она, ничего? — спросил Юрка Мухач.

— Само то. Спичку поднесешь — горит. Совхоз-то свеклу садит, вот батька из нее и наловчился. Пьет, аж ботва на голове растет. А что, сейчас каждый начинает рогом шевелить.

Юрка Мухач наморщил лицо, потер лоб.

— Я вчера тоже захорошел. У кореша на свадьбе был.

Мне стало почему-то жалко себя, что целый день просидел дома. Сначала читал книжку, а вечером смотрел телевизор и пил лишь один чай. И я стал лихорадочно думать, что бы такое соврать похлеще, и уже открыл было рот, но Лешка перебил.

— Не опохмелялся сегодня? — спросил он Юрку, заметно оживляясь.

— Да нет, где опохмелишься...

— Я вот тоже, — тяжело вздохнул Лешка. — Утром пораньше в одну забегаловку заскочил, а там — глухо, не пробьешься. Полез напролом. Дайте, говорю, мужики, кружку пива взять, душа горит. А один интеллигентик, в очках, в шляпе, кричит мне: «Тут все с похмелья, уважать надо!» Плюнул я и ушел.

Лешку припекло, он перевернулся на своем горбыле спиной кверху. Кожа его шелковисто золотилась, впитывала в себя солнце, казалось, все его тело до краев налито солнцем.

— Ну, а ты, Саня, — спросил он, — ты-то как вчера? — Было дело... — неясно отозвался Сашка.

Я посмотрел на него. Лицо его по-утреннему было свежо и светло, не верилось, что у него «было дело».

Сашка улыбнулся простодушными голубыми глазами, встал, отряхнул штаны от земли и стал неторопливо складывать выброшенные из траншеи кирпичи. Очищал их друг о дружку, аккуратно выкладывал башенкой. Кому это надо? Чудаковатый парень.

Замечали мы за ним и раньше такое. Когда с материалами случались перебои, мы слонялись по лесам, от нечего делать разглядывали с верхотуры прохожих.

— Эй, рыжая, иди поговорим! Ну ты же как неродная! — кричал Лешка нарочито хриплым голосом какой-нибудь девице, идущей по тротуару на другой стороне улицы.

Девица поднимала голову, находила нас, смеялась и шла дальше, а мы ждали следующую.

— Эй, рыжая! — у Лешки почему-то все были рыжие, — возьми в братья! Да ты посмотри, какой у тебя козырный брат будет!

Мы с Юркой Мухачом покатывались со смеху, но сами кричать стеснялись. Да и не получилось бы у нас так.

И вот, пока мы развлекались, Сашка со своим подсобником счистил рабочую площадку. Они собирали лопатами сухой раствор, битый кирпич и в оканенке сносили вниз. Или Сашка брал мастерок и стесывал со стенки лишний раствор. Мы смеялись над ним, а он лишь виновато улыбался нам детски-простодушными глазами и делал свое.

Сашка уже высокую башенку выложил, и Лешка заерзал на своем горбыле. Сказал нетерпеливо:

— Ты чего вскочил? Гонит тебя кто? Сидел бы.

— Да вы курите, а я вот только кирпич собираю, — сказал Сашка. Он словно извинялся перед нами.

— Ну-ка, Мухач, — поднял голову Лешка. — Посчитай, сколько нам за это дело отломится. За восемьдесят метров.

— За каких восемьдесят? Мастер говорил — семьдесят, — поправил я.

— Ну, раз он говорил семьдесят, то восемьдесят уж наверняка наберется. Считай, Мухач. — Лешка был старше нас и разряд у него был не третий, как у нас, а четвертый, и поэтому он всегда оставлял за собой право решающего слова.

Юрка увел глаза к ярко-синему, без облачка, небу, наморщил лоб.

— Рубля по два будет...

— Всего-то? — протянул Лешка. — По два рубля на нос? Буду я за эти деньги горбатиться! Да я лучше пролежу до обеда, за простой и то больше заплатят.

Сашка тем временем сложил последние кирпичи, растерянно потоптался, будто не знал, куда себя дальше деть, нехотя залез в траншею и стал лопатой выкидывать землю. Бросал на другую сторону. Осторожничал, чтобы в нас не попасть комьями, но на лопату цеплял побольше.

Мы с Юркой Мухачом смотрели, как сгибался Сашка в траншее, как разгибался, краснея от натуги белобрысым лицом, как выбрасывал кирпичи и землю. Размеренно он это делал и сноровисто, будто всю жизнь только и занимался, что выкапывал кабели. И хотя мы понимали, что работу нам дали пустячную, а этот старый кабель вряд ли где пригодится, нам неловко почему-то было перед Сашкой.

Лешка тоже к нему поворотился, смотрел колючими глазами, вроде нервничая, говорил ехидно:

— Прибарахлиться парень решил. Вон как горбатится, аж с носа пот капает. Работающий мужик какой-то бабе попадет. Рада будет. — И подмигивал нам.

Мы смущенно смеялись, хотя смеяться совсем не хотелось.

— Был у нас в деревне один такой, — рассказывал Лешка, ободренный нашим с Юркой вниманием. — Также с утра до ночи горбатился. Везде успевал. И в совхозе, и с шабашниками. Денег, правда, заколотил порядком, но живот надсадил. Потом все деньги на курортах и спустил. До копеечки.

Принужденно хохотнул, глянул на нас. Но мы слушали его рассеянно, в смехе не поддержали, смотрели на Сашку, и Лешка обиженно отвернулся.

Мы с Юркой вдруг переглянулись и разом встали. Взяли лопаты. Теперь и мы сгибались и разгибались. И тоже, наверное, краснели от натуги, когда поднимали со дна траншеи сразу по три тяжелых, влажных кирпича.

— Мухач, — вдруг позвал Лешка. — Тебе-то с похмелья полежать бы надо. Тащи горбыль, ложись. Я вот анекдот слыхал...

Юрка смахнул пот со лба, с вызовом сказал:

— А у меня не болит голова. Ни на какой я свадьбе не был.

— Где же ты был? — Лешка приподнялся на локтях, подставляя солнцу другой бок.

— Сестренка в театр юного зрителя водил! — громко ответил Юрка и отчаянно покраснел. Посмотрел по очереди на меня, на Сашку. Мы не смеялись.

Лешка хмыкнул, но промолчал. Он позагорал-позагорал да тоже поднялся. С хрустом размял кости. Подобрал лом, приседая, выжал его над головой несколько раз, словно штангу, а потом размахнулся, пустил его как копьё. Довольно далеко пустил. Мы бы так не смогли.

— Сила есть, — сказал я с невольным уважением.

— А ты думал, — довольно усмехнулся Лешка.

Он подошел к нам с ломом, поигрывая мускулами, встал впереди меня, где грунт был особенно твердым. Покосился на нас.

— Ну, дурачки, прямо чокнутые какие-то... — и вогнал лом в землю. С придыхом вогнал, глубоко.



ТРОЕ ПРОТИВ ЧУДАКА

Вечером в коридоре вразной застучали тяжелые шаги. То ли снег с валенок стряхивали, то ли холод. А немного погодя ко мне в комнату ввалился парень в коротком черном полушубке. И тотчас во всех углах обосновался круто настоенный запах бензина и машинного масла.

— Привет, — сказал он, энергично растирая руки. — Тут Ташкент? Нет, не Ташкент. — Он заметил на мне два одеяла. — Здесь Залесово. А наша гостиница, как видно, израсходовала дрова, отпущенные на текущий год. В связи с морозами. А в вышестоящих организациях мороз не был запланирован. Все правильно, будем мужественно мерзнуть. Ну, ладно, ной не ной... Я смотрю, мы здесь как за семью печатями. — Он кивнул на старое вафельное полотенце с новым черным штампом. — В общем, кого как, а меня звать Алексеем. Попросту — Лешкой.

Познакомились.

— Может, кофе выпьем? — спросил Лешка. — Хочешь?

Я хотел.

— Это мы живо! — Он вскочил, распахнул дверь. Пожилая администраторша с домашним деревенским ли-

цом сидела на лавке с трактористом, привезшим муку. И разговор вела о муке.

— Скажите, — окликнул ее Лешка, — мы с товарищем хотим черного кофе. Можно два стакана?

— А водочки не изволишь? — шутливо засмеялась администраторша.

— Нет, — серьезно отказался Лешка, — водки не надо. Вот если бы кофе... Ну, что ж, — обернулся ко мне, — кофе здесь не принято. А раз нет кофе — будем довольствоваться десертом.

Лешка достал из балетки потертую книгу.

— Свет не помешает?

Но читать ему не удалось. Дверь скрипнула, и вошел мужчина. Этаким здоровяк со светлыми глазами.

— Извиняюсь, — сказал он мне, — я вот к товарищу. Алексей Батькович, чего ж не идешь к нам? Отрываешься от коллектива. Нехорошо! Козла думаем сочинить. Четвертый нужен.

— Нет, Петрович, лучше почитаю.

— И так умный, — хохотнул Петрович, — идем-ка к нашим. Оно, конечно, картишки — вещь не шибко на уровне, — повернул он ко мне простодушно улыбающееся лицо, — но мы работяги. Шофера. Из Заринской продукты привезли. Ну, пошли, Лексей, там кое-что сообразили...

— Сказал: не хочу. А там скажи: дескать, причина уважительная — товарищ свой уровень повышает.

— Чудак-человек. От коллектива-то сам знаешь... нехорошо. Ну, гляди. В случае чего, мы напротив.

Повернулся неуклюже, ударившись о косяк, и улыбнулся виновато: дескать, что с нас возьмешь — работяги.

Лешка полистал книгу:

— Не спишь? Я тоже не могу... Белое безмолвие. Хорошо пишет. Едешь, глядишь в окно — белое безмолвие. Словно про нас. Люблю Джека Лондона. В каждый рейс с собой беру. Впору в путевой лист вписывать. Только вот какая штука: на грустность иногда меня это безмолвие наводит. От Заринской до Залесова тридцать шесть километров. А если снегопад или метель — в Залесово не попадешь. По неделе там люди сидят безвыездно. И даже трактор не пробьется. Снежище — не провернешь. Снабжение же все от железной дороги. А вдруг заметет больше, чем на неделю? На месяц?

И вдруг кому-то ехать срочно? Хотя бы в город. На сложную операцию. Как тогда? Еду, смотрю на снежные заносы и думаю: вот бы куда аэросани! При нашей-то технике их строить — пустяки. А то ведь прямо смех: нам проще триста километров над «шариком» подняться, чем тридцать километров по земле проехать в неспокойную погоду.

— Может, у нас и без саней забот хватает? — пытался я остудить его. — Страна большая, всего много надо.

— Значит, мелочь? — озлился Лешка, и его зеленые глаза потемнели, как озеро в непогоду, а на поразительном подвижном лице возникла гримаса презрения.

— Выйди на улицу и у первого встречного спроси: мелочь ли? И тебе ответят... Знаешь, что ответят? Может, выйдешь? Ну, то-то, — размяк Лешка. — Я тебе открою секрет: сам делаю сани. По чертежам из журнала. С полочки мотор возьму. Я на него три месяца денег откладывал. Из-за него все и стоит. Винт уже вырезал. Наши не знают. Ничего, скоро сделаю, красной краской выкрашу. А как будет непогода — рвану в Залесово. Может, по дороге пассажира прихватчу. Не за деньги. Чтоб люди смотрели и выводы делали. Знаешь... в долгу я перед одним человеком. Хочешь, расскажу?

Лешка прислонился к окну. Луна за окном большая, бесстыдная, освещенная морозом. Глядит ясно и сверлит заледенелое стекло синим прожектором.

— Вот такая же ночь была. Морозная. Словно вся синева вымерзла. Послали меня в срочный рейс: за полста километров бензин отвезти. Заправил на станции цистерну горючим. И что-то неохота мне стало на ночь ехать. Плевать, думаю, на срочность. С утра выеду. Стал думать, где бы переспать. В общежитие идти нельзя: все знают — в срочный послали. А больше некуда. Отъехал я, значит, на край села, заглушил машину возле случайного дома, постучал в окно.

Выскочила на крыльцо женщина в валенках на босу ногу, в платке. Всмотривается в меня. А со свету ей ничего не видать.

— Хозяюшка, — говорю, — пусть переночевать. — Голосу своему жалобность придал. Сам-то наверняка знаю: шофера всяк пустит, не откажет. «Не жалко, — отвечает, — входи».

Ну, я и вошел. Чистенькая комната. Тепло. И женщина собой ничего. Даже красивая. Я и оробел. Бывает, знаешь, когда стесняешься, так на себя наглость напустишь — и ничего. Сходит. Почему-то стеснительным казаться хуже, чем наглым. А здесь и наглость не помогла. Я просто забыл, что можно быть наглым. Оробел прямо... черт знает как...

А она чай согрела, к столу зовет. И все молча и равнодушно, словно официантка, которой все равно: будешь есть — ешь, не будешь — катись... И тут я заметил — на полу парнишка лет пяти в кубики играет.

— Где твой папка? — спрашиваю, чуть осмелев.

— А тебе что? — это она мне.

— Ничего. Просто спросил, без всяких мыслей.

— Нету его... Ушел. Он ведь тоже шофером был. Тоже по чужим домам ночлежил.

Парнишка поднял голову — слушает. Взглянул на его кубики, и самому поиграть захотелось. Детство у меня было, знаешь... Одна мать. Да нас детей — трое. Тут уж не до игрушек. Подсел я к пацану, и стали мы вместе дом строить.

Женщина к чаю не притронулась. И меня не зовет. Положила голову на ладонь, странно так на нас смотрит. Мальчишка сопит, работает ручонками. Будильник на столе тикает — и тишина...

Долго мы с ним возились. Прилип он ко мне, не отпускает. Время позднее, спать ему надо — пацан ни в какую. Схватил меня за руку, держит, не отпускает.

Когда уж уснул — я руку высвободил... вот ведь странность какая... Потом взял я ножик, дощечку и стал ему грузовичок мастерить. Женщина спать не ложится, сидит, смотрит молча. И я — молча строгаю. До пяти утра так и просидели. Без единого слова. Игрушка хорошая вышла. Сам залюбовался грузовичком. Положил его на кровать парнишке. Попрощался и вышел. Женщина проводить меня хотела, говорю: не надо — холодно.

Завел свой бензовоз и пошел! И вот тут на меня сон навалился. Веришь — в глаза словно клею плеснули. Дорога ровная, в кабине тепло, убаюкивает. Не люблю ровные дороги за это. Не успел далеко отъехать — столкнулся с трактором. Он трубы вез на санях. В тумане за машину его принял, на скорость не среагировал.

Очнулся от удара. Шумит. То ли в голове, то ли еще где. Выскочил из кабины, сон как украли. Сбоку цистерны пар хлещет. Труба цистерну пробила, бензин и льет, словно из хорошей колонки. До сих пор удивляюсь: как не загорелся? Искры от удара хватило бы. Тракторист попался молоденький. Перепугался, аж заикается. Да и у меня внутри — холод. Сердце вот-вот выпрыгнет. Эй, ты! — кричу трактористу. — Замотай выхлопную трубу телогрейкой да отгони свой металлолом! Парень отогнал трактор, и стали мы вместе разглядывать мою машину. И надо же случиться — вся целая. Только дырка в цистерне. Словно разрывная пуля прошла. Отвлок он меня от опасного места. Стал я мотор пробовать. Ничего, работает. «Ладно, — говорю парню, — шуруй по своим делам и забудь, что здесь было!»

— А сам — на станцию. Время — около семи утра. Подгоняю машину к общежитию. Стучу в шестнадцатую комнату, где наш комсорг Вася Савельев жил. Открывает он, заспанный, в трусах и майке. Так и так, рассказываю, цистерну пробил, весь бензин потерял.

Сел Вася, закурил, думает. «Дела, — шепчет, — дела». Я ему: что ты заладил — дела. В петлю мне теперь лезть, что ли?

— Петля — не выход. Это страх из тебя наружу прет.

— А ты бы на моем месте пел от радости?

— Смелость надо иметь за свои дела отвечать.

— Ах, вот ты как заговорил! Все вы мастера болтать! Товарищество! Взаимовыручка! Один за всех! Все за одного! А случись с человеком беда — вы в кусты? Да? Сдыхай, Лешка Иванкин, всем на тебя плевать!

Вытащил я комсомольский билет, стал трясти им. Что кричал — уж и не помню. Вижу только: побледнел Вася, схватил штаны, ногой в штанину не попадет, торопится. Вмиг оделся. Как в армии по тревоге. Достал из-под кровати свой сварщицкий щиток. И в двери:

— Пошли!

Во дворе разглядел пробоину:

— В гараж!

Взяли ключи у сторожа, открыли мастерскую. Ломиком дыру выправили у цистерны.

— Теперь варить надо, — говорит Вася, — изнутри варить. Чтоб заплатка не снаружи сидела. Открывай люк, пусть цистерну продует.

Открыл. Да разве ее быстро продует. А Вася уж и робу натягивает, провод от сварочного аппарата тянет, электрод цепляет. Быстро все делает. Лучше его сварщика отродясь не видал. Не успел я опомниться — он в люк лезет. У меня в пятках зуд начался. Чиркнет — думаю, электродом, бензиновые пары и взиграют, разлетится цистерна, как детский шарик. Вася словно понял меня, бросил: «Отойди подальше!»

Стою, и ноги сами назад тащат. Можно было и отойти. Он сам просил. А душа против. Совестно. Из-за меня человек рискует, а я, как самый последний подлец, прятаться буду. Кровь в голове от напряжения шумит. Перед ожиданием.

И все же я отступил. По гроб не забуду и не прощу себе. Как ударил грохот в цистерне — меня, словно ветром, назад. Конец Ваське — подумалось. А грохот снова и снова. Из люка дым едкий идет. Минут пять гремела цистерна. Тут и слесаря и шофера собрались. Стоят, оцепенели. Сроду такого не видели.

Потом, лишь затих грохот, кинулся я к цистерне. Ребята следом. Вытащили Васю. Лицо в копоти. Бледный. Рвать его стало. Наглотался паров-то. Умыли мы его, усадили. Ему и легче стало. Сколько, спрашивает, бензину было?

— Тысяча по накладной.

— Ребята... кидайте талонов... Отдаст потом...

А ребята у нас, знаешь... вмиг набрали.

Заправился я снова и, пока начальства не было, — в свой рейс. Отвез как положено. Поворчали, правда, малость в районе насчет того, что поздно. Да ничего, обошлось. Лучше поздно...

А на другой день меня и Васю начальник автобазы вызвал. Я рассказал, как было дело. Конечно, о том что недоспал — нигде ни слова. Ладно, отпустил он меня. Раз отвез — свой долг выполнил. Насчет пробойны цистерны — залатали же. Бензин — занял. Не к чему особо-то придрататься. Простили на первый раз. Молодость и прочее.

А с Васей долго в кабинете разговаривали. Не знаю о чем. Но только хмурый он вышел. Как ни допытывался — молчит... Только отшучивается. Веселый он, Вася.

А потом как-то из рейса приезжаю, ребята мне: Васяка Савельев уволился и уехал. Меня словно холодной

водой. Поспрашивал — никто не знает куда. Родных у него не было. Он к нам из армии пришел... Холодно мне без него стало. Во сне долго его видел. Сейчас — реже. Время стирает... Лицо его стал забывать. А вот душу — не могу. И не забуду. Мне тоже захотелось для людей что-то хорошее сделать. Ну, вроде аэросаней, что ли. Я и гусеницы для грузовика конструирую. Съёмные. По болоту и снегу ездить... Растравил себе душу. Дай-ка сигарету. Пойду покурю на улице. Форточки тут не в моде.

А потом, деликатненько постучав, вошел Петрович:

— Извиняюсь. А где Алексей Батькович? Не надоел он вам? — лицо его лоснилось от внутреннего тепла и сытости. — Чудак он, ей-бо! Шофер — вполне положительный. И кабы не его эти самые выверты — был бы человек на уровне. А то... — Он склонился и шепотом: — Бабу взял с пацаном. Женился! Нешто без пацана не нашел бы? Чудак, ей-бо!.. Или вот книга... Я ее давно у него приметил... Не по-нашему писана. Буквы чужие, не наши. А зачем? Зачем работяге чужой язык? Кабы рейсы за границу были. Баловство все это. Сначала книга чужая... потом... — Он остро глянул на меня положительными голубыми глазами. — А отчего все это? От коллектива отделяется. Индивидуализм проявляет. Надо будет попросить, чтоб поручили над ним шефствовать. Надо товарища до уровня довести. Как думаете, поручат? Время ведь сейчас такое: с людьми работать да работать надо.

Савельев

Савельев Алексей Батькович
Дата рождения
Алтайского края

63935



НОЧЬЮ, В ОЖИДАНИИ ПАРОМА

Когда я подошел к берегу — стемнело. Сразу, будто в комнате опустили шторы. Еще каких-то полчаса назад ближние скалы розовели маральником, и вот — темно. Солнце скатилось за гору, на миг запуталось в колючих ветвях елей, расщепилось на мелкие осколки и исчезло.

Синий туман мягко накрыл гору, долину, растушевал все ее подробности. Только река светилась матовой полосой и шумела на перекатах.

На берегу были двое: старик с жидкой бороденкой и парень. Старик лежал на траве, зябко закутавшись в телогрейку. Парень курил, сидя на краешке большого чемодана. Прервали разговор, сдержанно поздоровались.

— Тоже на ту сторону? — равнодушно спросил старик, приподняв кудлатую голову.

— На ту. Давно паром ждете?

— Давненько, — зевнул старик. — Я пришел еще не темнелось, а его все нету и нету.

— Может, покричать все-таки? — неуверенно спросил парень и бросил окурок в воду.

— Кричи не кричи, все одно, — усмехнулся в темноте старик. — Была бы хоть машина какая, скорей бы

приплыл. С машины-то больше денег за переправу. А с пешего чего? Копейки... Не много корысти.

Парень поднялся с чемодана. Долго стоял возле самой воды, вглядываясь во тьму того берега.

— Ну и гад же этот паромщик, — сказал он, вернувшись.

— Оно, может, и так, — согласился старик. — Его и начальство ругает. На днях из района какой-то видный человек приезжал. На легковушке. Уж он сигналил, сигналил... Фары зажигал. Шибко сердчал. Сниму, говорит, с работы этого пропойцу. А Ваське все это... — безнадежно махнул рукой. — Поди и теперь налился до краев. Суббота ведь...

— Чего ж не выгонят?

— Выгнать-то оно, вишь, дело не хитрое. Да только кого, кроме Васьки, на паром поставишь?

— Неужто в деревне народу нет?

— Как это народу нет? Народ-то есть. Так ведь загвоздка: молодого парня в паромщики палкой не загощишь. Там ему никакого будущего. Парни нынче норовят все больше к механизмам пристроиться. Оно как-то надежнее. И мужик на паром не пойдет, если он семейный и хозяйственный. Вишь, коровенка, огородишко время требует. А какое у паромщика время? Вот ты, скажем, приехал днем ли ночью — перевезти надо. Старика тоже не поставишь. Не сладит с Катунью. Страшно на пароме-то... Особенно весной, в большую воду. Однажды, уж не припомню, в каком годе, канат не выдержал. Паром-то и понесло. Ладно еще возле берега дело случилось, когда круто нос занесло. В протоку выбросило. На самые камни. Обе баржи, конечно, разбились. Людей эдак человек десять было на пароме да подвода. Ну, люди еще так-сяк: отделались легко. Кто нос разбил, кто руку вывихнул... А лошаденка погибла. Когда, значит, вертануло, лошадь назад шарахнулась. Колеса телеги свесились с настила. А груз был тяжелый — мешков шесть картошки. Лошаденку и стащило в воду. Самого Ваську веслом ушибло. Недели две, наверно, хворал. Директор тогда шибко запечалился. Не из-за казенной лошади, а из-за Васьки. Думал, тот откажется от места.

А Васька как немного оклемался, так и запил. Неделю под всеми плетнями валялся. Деньги кончились, сам

в контору пришел. Без денег неспособно ему. Пить не на что.

— А паром? — спросил парень.

— Паром новый срубили. Директор дал Ваське плотников в подмогу, лесу хорошего отпустил. Вот и изладили паром.

— Постой... — заинтересовался парень, — какой это Васька? Не припомню что-то. Раньше ведь Акимыч был. Рыжий такой...

— Был Акимыч, был, да только преставился лет пять назад. А Васька — пришлый. Говорят, в городе у его жена была. Бросила его жена-то, потому как пьет шибко...

Помолчали. Темень была густая, глубокая. Только на той стороне мерцали редкие огоньки окон и отражались в черной воде.

Где-то ниже по течению черные скалы вспарывали Катунь, отчего шумела она неуспокоенно. Набрасывалась на гранитные глыбы и откатывалась, матово светясь изнутри.

К ночи обострились запахи. Они наплывали от ближних скал, густо поросших маральником и карликовой дикой акацией. Затаившиеся березы, сосны, кустарник, цветы, каждая травинка источали свой аромат, тонкий и пьянящий. Я лежал на еще безросой траве, и не хотелось осквернять воздух сигаретным дымом. После города чистый, профильтрованный через хвою, листву и полевое многотравье воздух казался удивительно вкусным.

Старик зашевелился, приподнял голову.

— А я тебя сразу-то и не признал, — сказал он парню. — Сижу, жду парома, и ты подходишь. Парень с виду не деревенский, незнакомый. Потом пригляделся... Мать честная, никак, думаю Степка. Ажно оторопь взяла...

— Чего испугался?

— Говорили, будто ты утоп.

— Кто говорил?

— А все говорили.

— Ну, а... мать моя... как? — трудным голосом спросил парень.

— Погоревала, поплакала, да и успокоилась. Еще двоих растить надо было. Такая бабья доля.

— Отец-то живой?

— Живой. Все на пасеке.

Степан облегченно вздохнул, полез в карман за папиросой.

— Вишь, Трофимыч, — сказал хрипло. — Семь лет прошло, а помню, будто вчера это было...

— Разве семь? — усомнился Трофимыч.

— Семь. Точно подсчитано.

— Ну, пусть семь, — согласился старик. — Я в те годы еще справный мужик был. Плечи чуть посуше твоих, однако, были.

— Теперь-то на пенсии?

— Отдыхаю, да уж больно скучно. Не привык отдыхать-то. Вот и рыбачу помаленьку. Все дело. Глядишь, на ушицу чебачков и наловлю. А то и подъязок попадет. Вон в ведерке погляди, если интересуешься.

— Да, Трофимыч, все помню... Закуришь? «Казбек»...

— Не-е, отродясь этой пакости в рот не брал.

— Ну, так вот... лежит мой «газик» на боку. Кузов в щепки. Представляешь? Кабину помяло, как консервную банку. Глухо! Голова как чужая — гудит... Стою возле обрыва и не знаю, поверишь, не знаю, радоваться или что... Сам-то успел выскочить, а машину угробил. Хмель, понятное дело, как рукой. Ощупываю себя, а руки, как у последнего алкоголика, трясутся... Вот, думаю, подзалетел. Глухо!

Ну, значит, спустился к машине. Просунул руку в кабину. Стекла-то вылетели. Вытащил папиросы да пуптевку. Хотя на кой она мне была нужна. А не бросаю. Привычка, представляешь, такая. Шофер никак не может без пуптевки. В карман ее и — ходу. Куда — сам не знал. Капитально струхнул. Боялся, посадят...

— И посадили бы, — согласился Трофимыч, — теперь, говорят, врачи пьяных по духу распознают. Кабы трезвый был, куда ни шло.

— Трезвый бы не сшиб столбики, — зло оборвал Степан.

— А пошто пил?

— Лесу одному мужику привез. Крепенько поддали с ним. Тот говорит, оставайся ночевать. А я не остался. Домой торопился. Ждали меня там...

— Девка, поди? — хихикнул старик. — Ну-к, дай бог памяти, ты, кажись, с Марийкой гулял? С учительской дочкой?

— Какая тебе разница... Ну, слушай... Деньги у меня были. Паспорт при себе. На попутной добрался до Бийска, а там на поезд и с приветом.

— Куда же уехал?

— Далеко. В Среднюю Азию. Ты не бывал там?

— Кого я потерял в этой Азии? Как родился здесь, так седьмой десяток все на одном месте. Раньше-то люди к дому крепко прирастали. Боялись в чужие края.

— В Азии все не так, как здесь... у вас. Снегу зимой почти не бывает. Иногда ночью выпадет, а утром растает. Зато летом — глухо: жара, как в парной. Старики, аксакалы их там называют, в ватных халатах ходят и соленый чай пьют. Ты, вот, к примеру, в стакан ложку сахара, а они — соли. Конечно, не ложку, а так, чтобы вкус был.

— Пошто халаты не скидывают?

— Не знаю, так привыкли. А соленый чай им, говорят, от жары помогает.

— Солёный?

— Солёный.

— Будет брехать-то.

— Не веришь — у кого хошь спроси, — обиделся Степан.

— Ну, ладно, бог с тобой, — согласился старик. — Пусть будет солёный.

— А в Самарканде прямо чудно, — продолжал Степан. — В старом городе ночью и не пройдешь. Заплутаешься — не выберешься.

— Пошто так?

— Улицы узкие и кривые. Телега местами не проедет. Идешь — по бокам дома, сверху дома. Глины намазаны, в нее соломы, и дома лепят. Как ласточки на карнизе. Видел? Вот так же. Чудно!

— Должно, полы у них неровные?

— Ровные. Крыши-то плоские. Понимаешь?

Трофимыч усмехнулся снисходительно:

— Может, им площади не хватает? У нас один дом от другого далеко. А между домами — огороды.

— Да вроде хватает.

— А чего они так?

— Спроси их... Ведь это в старину было.

— Чего только на свете не бывает, — вздохнул Трофимыч. — Страх прямо... И кем ты там работал?

— Шофером. Права-то при себе были. Правда, в городе меня не взяли, а на карьер, в горы — со всей душой... Горы, конечно, там не такие. Ни лесу, ни травы. Все выгорает от солнца. Только камень и камень. Я руду возил на обогатительный комбинат. Городок у нас рудничный что надо. Дома хорошие, зелени посажено много. Поливают ее. Иначе тоже выгорит. Там больше тополя растут. Комнату в общежитии дали. Со всеми удобствами. Ванная, душ и прочее. Даже газ есть.

— У нас тоже много строят, — сказал Трофимыч, — новую контору выстроили. Школу двухэтажную из красного кирпича отбухали. Внучка у меня там учится. Во второй уже перешла. Правда, шибко высоких домов не делают. В деревне каждый мужик привык хозяйство содержать: огородишко, коровенку, курочек.

— А квартиры у вас дают? — поинтересовался Степан.

— А то как же... Не сразу, но дают. Мои все с квартирами. Как оженлись, так и отошли от отца. В избе мы вдвоем со старухой остались. Сыновья зовут, дескать, к нам давайте. Я-то согласный, а старуха уперлась — ни в какую. И домишко уже весь дырявый. Латай не латай — все одно: топишь зимой, а тепло сквозь трухлявые бревна и уходит. Сыновья говорят, перебирайтесь, места хватит, а эти хоромы — бульдозером. Мать как услышала про бульдозер, еще пуще заупрямилась. Из избы не выходит. Снесите, говорит, меня вместе с домом.

— Ну, уж это пережитки, — засмеялся Степан.

— Кто его знает, — вздохнул Трофимыч, — может оно и так. Родилась в этой избе. Каждая плаха родная. Старому человеку трудно к новому принаравливаться. На руднике-то как, хорошо платят?

— Нормально, — твердо сказал Степан. — Две, а то и две с половиной сотни в месяц. Меньше не выходило.

— Новыми, что ли? — в голосе старика недоверие.

— Не старыми же.

— Жить мо-о-ожно, — нараспев сказал Трофимыч. — Богато, поди, жил?

— Не жаловался. О тряпках сроду не заботился. Поверишь, рубаху запачкаю — не стираю. Выкидываю и покупаю новую. Да не одну, а сразу штук шесть. Не веришь?

— Кто его знает, — неопределенно протянул тот.

— Костюмы и прочее барахло — все есть. Которые семейные, так те деньги на книжку кладут. Заграничную обстановку покупают, на курорты к морю ездят. Почти каждое лето.

— А ты?

— Мне что? Я холостой. Мне зачем копить?

— Женился бы.

Степан вздохнул, чиркнул спичкой. Осветил нахмуренное лицо с твердыми, резкими чертами. Затаился папиросой, глядя на редкие дрожащие огни деревни.

— Ну, а с продуктами как там? — сонно спросил Трофимыч.

— Всего навалом. Даже вина иностранные есть. Я вот, — щелкнул пальцами по чемодану, — везу пару бутылочек французского коньяку. Отцу, братьям. Ну, и еще кое-что из тряпок. Кому рубаху, кому куртку дорожную. Здесь таких не достанешь. А матери — шаль из козьего пуха. Афганистанскую. Показать?

— Кого я в темноте увижу... Стало быть, хорошо там?

— Хорошо.

— А чего вертаешься?

Степан помолчал. Ответил не сразу:

— Откуда ты взял, что вертаюсь?

— Ну как, с чемоданом.

— В отпуск.

— Не потянуло на море?

— Родных повидать захотелось, — вздохнул Степан. — Веришь, сплю, а себя на пасеке возле гречишного луга вижу. Будто с отцом саранки ищем. Веришь, запала мне в душу эта саранка. Мы пацанами их выкапывали и корни ели. Луковицы желтые такие, на чеснок смахивают. Только не горькие... вкусные.

— Саранка да саранка, чего в ней такого? — тихо спросил старик не то самого себя, не то Степана. — Никакого в ней интереса нету. Теперь не едят их. Еды хватает.

— А я вот бредил саранкой. Поискал как-то в яблоневых рощах — не нашел. Не родится она там.

— Яблок, говоришь, много? — встрепенулся старик.

— Этого добра хватает. Дикие есть, мешками собирай.

— Яблоки — благодать, — сонно сказал Трофимыч. — Только нам их редко забрасывают. Свои-то ранетки мелковаты. Вкус у них не тот. А в городе крупные привозные бывают. Сыновья привозят. Внука у меня их уважает, яблоки-то.

— Фрукты скоро приедаются. Я бы на руднике за луковицу саранки или за кедровую шишку самосвал яблок отдал.

— Да ну!

— Отдал бы. Там они, эти яблоки, ничего не стоят.

— Ох-хо-хо, — зевнул Трофимыч. — Никак всерьез запил Васька, будь он не ладен.

— Говорю, покричать надо, — раздраженно сказал Степан.

— Кричи, коль охота, — проворчал старик. — Ты вон какой медведь. Может, и услышит.

Степан подошел к самой воде, наклонился, сложил руки рупором:

— Э-э-э-эй! Па-ро-о-о-м! Давай сюда-а-а-а!

Прислушался. «Уда-а-а-а!» — ответили скалы сквозь шум Катуня. Постоял, потоптался, скрипя галькой. Не видно парома. Только совсем редкие огоньки, будто брошенная в траву горсть светлячков.

— Морду бы набить твоему Ваське, — сказал деду зло.

— Какой он мой? — обиделся тот. — Мои не пьют. Они люди степенные. Сашка — тот милиционером работает. Ванька — бригадиром.

— Сашка — милиционером? — поразился Степан. — Да мы с ним огурцы из совхозных парников крали и продавали шоферам на тракте.

— А теперь сам озорников ловит, — сказал дед.

— И много у вас озорников?

— Нет, не много. Народ сытно живет. Пацаны разве из-за девки когда подерутся. А так — тихо.

— А вот в Азии народ отчаянный. Наверное, у них кровь горячее от климата... Да... Ну, а мои братья как, тоже в начальство выбились?

— Меньший-то, Алешка, в армии служит. Карточку недавно прислал. Справный такой солдатик. Значки на груди. Федор — тот агроном. Видный мужчина. Его больше по отчеству зовут. Парторгом он, башковитый мужчина.

Степан осторожно поглядел в мою сторону.

— Спит?

— Дрыхнет, — скучно подтвердил дед и зевнул.

— Трофимыч, ты вот скажи мне, — голос дрогнул. —

Скажи... Братья у меня — люди. Сам видишь. Федор, вон, агроном, парторг... А я... Может, не надо мне домой носа казать? А? Вдруг им вред какой принесет это? Лучше, — он судорожно глотнул воздуха, — выйду на тракт, проголосую и снова на попутной? А? Трофимыч?

— Сам гляди... Чужому человеку трудно советовать, — уклонился старик. Заворочался, устраиваясь поудобнее. — Может, и рады будут, а может...

— Понятно, — оборвал Степан. Обхватил колени руками, опустил голову. — И меня могут за аварию забрать. Твой же Сашка и заберет. А? Как, заберет старого друга? Скажи.

Старик промолчал.

— Нет, ты мне скажи: заберет меня Сашка?

— Кто его знает, — выдохнул старик.

С реки похолодало. Трава приняла росу. Степан поднял воротник пиджака, прикрыл грудь, пожегился.

— Трофимыч, а Трофимыч, — позвал шепотом. — А Марийка где? А?

Старик, подобрав в комок по-мальчишечьи сухонькое тело, ровно посапывал в телогрейку.

— Где Марийка, Трофимыч, слышишь? Эх, старик, старик... — зашуршал папиросной пачкой: пустая. Сломал ее в кулаке, отбросил с досадой.

Катунь шумела на перекатах и слегка поблескивала. И не было других звуков. Ни полуночного крика птицы, ни гула проходящей по тракту машины. Река все их растворила в своем неумолчном шуме и властвовала, дыша прохладой.

Степан сидел неподвижно и глядел на реку, и слушал, как шумит Катунь. А парома все не было...



ЧЕПИН, УБИВШИЙ ОРЛА

После еды отец достал из кармана мятую пачку «Прибоя», бережно вышарил папироску, поправил ее, прикурил и сказал Петьке задумчиво:

— Ты тоже собирайся. С нами поедешь... — Помедлил чуть, затягиваясь дымом. Прищурился на старшего, Сергу:

— Как угодня? Глядел?

— Понятно, глядел, — усмехнулся Сергей. Степено и чуть снисходительно. Он сидел на полу, привалившись к стенке, скрестив руки на груди.

Его усмешка не понравилась отцу. Он сторожко оглядел всех сыновей, изучающе. Нахмурился. Резко обернулся к Сергею. Глаза его так и буравили сына.

Сергей погасил улыбку на всякий случай.

— По всем логам проехал, понизу и поверху. Семена осыпались... Все в норме... — сказал немного обиженно и покорно.

— Ну, гляди... — расслабился отец, довольный послушанием. — Покурим и поедем. Вы все на сенокос, а ты, Петька, со мной к овечкам.

Петька согласно промолчал, и на душе отца полегчало. Весь вчерашний день пристально наблюдал за сыном. Как он после интерната: обрадуется ли каждой

домашней мелочи, потянется ли к хозяйству. Как бы не разбаловался в интернате. Ведь на всем готовом жил.

С утра сын вместе с остальными братьями пилил дрова. Отдыхал чаще других. Понятно, отвык. После обеда взял коня и уехал в горы. Вернулся только к вечеру. «Соскучился по седлу, значит», — порадовался отец. Но увидел книжку, засунутую за ремень, и ругнулся с досады.

Внешне Петька по-отцовски бесстрастен. Свои чувства не выявляет напоказ. «Вот дьявол», — удивлялся отец невозмутимости сына. Это его и радовало, и тревожило. «Мужчина должен быть спокойным, но что у него на уме?» Искал что-то в сыне и не находил. «Может, еще все ладно будет, — утешал себя. — Необученную лошадку в пару со старой запряжешь — и обучится, притрется. Вон как с Серегой. Только воли Сереге не надо давать».

Отец глянул на Сергея. Строго и пристально. Тот поднял недоумевающие, покорные глаза. «Ну, этот-то на привязи», — подумал отец и протянул ему пачку.

Петьке тоже хотелось курить. И он вышел во двор, где лежали не просохшие еще от предутренней росы седла и уздечки.

Там, в поленице, под берестой нашел чуть влажный окурок толстой папиросы. Бережно подержал на ладони и спрятал в кепку. Подумал: «В горах искурю».

Солнце еще ворочалось где-то за горой, лениво плавило редкие облака, а все окружающее уже томилось от ожидания тепла и света. В ельнике вразнобой заливалась мелкая птица, а пестрый полевой цвет нацелился головками на гору, лесистая вершина которой разгоралась веселым светом невидимого пока солнца.

Копыта пяти лошадей звонко чмокали по узкой тропе. Петькины сапоги и брюхо его лошади враз стали мокрыми от высокой росной травы, и он приотстал, пропустив братьев вперед. Сергей, объезжая Петьку, влажно блеснул зубами, дернулся на коне призывно. Расстегнутая клетчатая рубаша запузурилась на спине. Черный жеребец его скакал напористо, рассекая траву грудью, вытянув шею и распутив нестриженный хвост по ветру. От копыт летели головки цветов.

Сашка спохватился, ударил пятками по мокрым бокам своей лошади, пригнулся к седлу. Девятилетний

Володька мельком глянул на отца блестящими, как у бельчонка, глазами. Не заметил на непроницаемом лице запрета. Свистнул пронзительно, отчего лошадь его испуганно дернула мордой и взяла рысью.

Петькина лошадь тоже было прибавила ходу, но он неприметно придержал ее, краем глаза наблюдая отца.

Скачка не сулила ему удачи. За Серегой не угнаться. Тот после восьмилетки три зимы и лета чабанил. И скорее расшибется, чем даст обогнать себя человеку, по его понятию, городскому и тем потревожить его чабанское достоинство. Сергей дразнит братьев, подпуская их ближе, оборачивается, скалит зубы в беззвучном смехе и блестит солдатской пряжкой на животе. В армии он еще не был. Осенью обещали призвать. Но уже достал где-то солдатский ремень, пряжку которого до горения драит суконкой.

Сашку тоже не догнать, не уступит. При отце живет. В седле будто приклеенный. Не справиться и с Володькой. Бойким растет мальчишка, все Серегины повадки перенимает. С шести лет помогает отцу копны возить. Верхом на лошади. Так что спокойно обойдет в гонке.

И Петька, спрятавшись за обычное спокойствие, поехал рядом с отцом, который уже давно не тягался с сыновьями.

— Значит, так, — сказал отец хмуро, — с утра овечек выводи на солнцепек для прогрева. В отаре молодняка много. Ему после ночной зябкости тепло надо. Понял?

Петька кивнул.

— Шибко овечек не гони, — продолжал отец, наблюдая гонку сыновей. — Пусть идут тихо и все поедают под ногами. Меньше гону — больше жиру. Не слышал?

— Нет.

— Плохо, однако, вас в интернате учат, — вздохнул отец.

— Нас чабанству не учат, — ответил Петька.

— Совсем не учат? — удивился отец, и Петька настороженно покосился на отца: не похоже, чтоб отец не знал про интернат всех подробностей.

— Интернат ведь школа, а не курсы. Кому надо — потом выучатся чабанить, — спокойно ответил сын.

— Плохо, — сказал отец. — Детей чабанов чабанству не учат.

— Не все ведь в чабаны пойдут.

— А куда пойдут? — равнодушным голосом спросил отец.

— Кто учиться в институт поедет, кто в техникум, кто в Шебалино работать останется.

— А ты? — отец глядел в сторону.

Петька промолчал.

— Не передумал, значит? Говори!.. Ну, зачем молчишь? Не об чем отцу сказать?.. Ну, ладно... — вздохнул своим мыслям. — Отаре разбрестись не давай... Собираешь замучаешься. К обеду овечек в ельник гони для передыху. Там соль-лизунец есть...

Петька ехал рядом с отцом обочь тропы, опустив поводья. Лошадь — отцовской выучки. Придет куда надо. Маленькое лицо его ничего не выражало. Он молча слушал и изредка кивал головой. И лишь проезжая бывшую стоянку, оживился, разглядывая знакомые места.

Когда здесь стояла бригада, сюда из Черги по субботам приезжала кинобудка. Механик, рыжий Толик, вешал экранчик на сосну и продавал мужикам билеты.

Однажды Толик поманил Петьку к стрекочущему аппарату:

— Помоги-ка... Видишь трубку? Когда резкость уйдет, ты ее легонько подправь. А я пока лампочку в фаре заменю. Мне надо сегодня домой поспеть, а без света по этим дорогам можно голову сломать.

Ладонь Петькина стала влажной, когда притронулся к трубке. Старики заворчали:

— Зачем пацана подпустил? Напортит чего-нибудь, и картину не посмотрим.

— Не напортит! — подмигнул Петьке рыжий Толик, доставая из-под сиденья инструменты.

Лампочку тот заменил быстро, но Петьке уже не хотелось отходить от аппарата. После он помог снять с дерева экран и перемотать пленку.

И после этого Петька уже с нетерпением ждал субботы. Подолгу глядел с пригорка, не покажется ли обшарпанная голубая кинобудка рыжего Толика...

Петька ехал рядом с отцом, но ничего не слышал. Когда натянул поводья, на пальце его блеснул граненый камешек.

— Пстой, — пригляделся отец. — Что на руке? Кольцо?

Сын спрятал руку под куртку, и отец покачал головой. Парень совсем испортился в Шебалино. И вдруг с горестным недоумением обнаружил, что с сыном ему и говорить-то не о чем. С другими, будь то Сергей, Сашка или даже Володька, — полное понимание. Скреплены не только родством, но и одними заботами. А этот будто и не Чепин, непонятный какой-то.

«Не надо его отпускать от себя, — твердо подумал отец. — Кончил свой интернат — и хорошо. Грамота чабану сгодится. Братья ничем не хуже, а дома живут, держатся за отцовское ремесло. Только и за ними приглядывать надо». Решил так, и сразу полегчало, даже спина распрямилась, будто сгинул радикулит, нажитый в горах.

Громкое, испуганное блеяние овец они услышали издалека. Отец разом напружинился, пригнулся к гриве, пустил коня круто в гору. Петька, стараясь не отстать, гнал лошадь сквозь цепкий кустарник, прижав ноги к мокрым бокам коня и думая лишь о том, как бы копыто не попало в расщелину, затаившуюся в траве.

И вдруг увидели, как желтоватые овечьи волны плещутся со склона на склон.

— Однако напугал кто-то, — обернулся отец, и каждая его морщинка на остром худом лице вылилась в тревогу. — Волков не должно быть. Последний раз забегали в позапрошлом году, и то двух взял. Больше не появлялись. Медведей тоже не слышно. Да и не балуют они летом. Хватает ягод и кореньев...

Овцы сбились тесной кучей, обступив что-то, не видное отсюда. Отец спрыгнул с коня, подбежал, растолкал животных. На тропе лежал крупный ягненок с раздробленной головой.

Отец поглядел на ягненка, на пугливо сбившихся в кучу овец и поднял голову. Над горой, поросшей старыми лиственницами, косо врезалась в кристально ясное, невинное небо серая птица, торопливо взмахивая большими крыльями. Ее оперение металлически поблескивало в лучах еще не жаркого солнца.

Отец вышарил в траве сырой березовый обломок и бросил вверх. Но гнилая палка рассыпалась в воздухе. Отец зло выругался по-алтайски. Но это не удовлетво-

рило его расстроенного сердца, и он выругался еще и по-русски. И вдруг, чего с ним, уверенным в своей постоянной правоте, не бывало, смутился, уколовшись о чуть насмешливые, осуждающие глаза сына.

Снова подумалось Чепину, что с другими сыновьями ему спокойнее, роднее. Они податливо впитывают все отцовское: и мысли степенные, и случайные грубые слова. Все перенимают как должное, как наследство.

— Красиво летит беркут. — Петька сузил щелочки глаз вслед птице. — Мне бы такие крылья...

— Зачем? — пытливо глянул тот.

— Так, — отвернулся сын.

— Умная голова лучше любых крыльев, — буркнул раздраженно Чепин. — Этот понадеялся на крылья, а не смекнул, что не унести такого большого ягненка, только зря животного сгубил, паразит. — И мягче, примирительно: — Поумнеть бы тебе, Петька... — Встрепнулся, глаза засветились: — Примета есть такая... Древняя примета. Кто убьет орла, у того желание исполнится, — и погрозил птице сухим кулаком.

Солнце обошло небо и стало опускаться к горе на острые верхушки елей, отчего вспыхнули те оранжево, будто обожглись, а в ущелье опустился синий полумрак.

И сразу невесть откуда упруго дохнул прохладный ветерок, насыщенный обострившимся к вечеру нежным духом альпийского многотравья.

Отца все не было. Днем он сказал: «Помогу ребятам силос закладывать и к вечеру буду».

Лиственницы и березы пустили густые тени. Ближние скалы растушевывались, а отец все не приезжал.

Петька запрыгнул на лошадь и стал сгонять овец на покой в теплый, безветренный ельник. Потом наломал сухих смолистых сучьев и запалил костер.

Из-под хвороста поползли зыбкие, желтые языки огня, резче оттенив наступившую тишину. В просветах между кронами прорезались крупные, спелые звезды. От них тянуло холодом и тоской.

Костер метал блики, вспугивая настороженную, затаившуюся вокруг темноту. Под неверными всполохами света дерева, кустарник, скалы меняли очертания. Обычные, понятные днем на черном фоне горы, они стали зловещими, будоражили ум, лишали спокойствия.

Петька тянулся ближе к огню и чаще оглядывался

по сторонам, чутко улавливая ночные шорохи. И вдруг ему показалось, что кто-то осторожно ходит за кустами. Он не слышал ни шагов, ни особо настораживающих чужих звуков. Но странное ощущение, что поблизости кто-то есть, не проходило.

Петька встал и, поежившись от зудящего, липкого страха, пошел к отаре. Наткнулся на шарахавшихся овец и шел дальше, к кустарнику. И, прикрыв ладонью глаза, набрал воздуха полную грудь, как перед прыжком в холодную воду, врезался в цепкие, колючие ветки низкорослой горной акации. Никто на него не бросился, не охватил. Это удивило. И он замер, прислушался.

Но окружающая тишина оставалась нерушимой. Ничего не услышал, кроме торопливых ударов своего сердца и шума крови в возбужденной голове.

— Это мне кажется. Просто кажется... Эй-хэ-э-эй! — резко, по-отцовски крикнул он, пугаясь громкости. Эхо отдалось неохотно, сонно. И Петьке стало спокойнее от своей смелости. Он вернулся к костру. Веткой сдвинул в сторону потрескивающие головешки. Подкормил огонь сухой березовой корягой, чтобы дольше грело. Лег на теплую землю лицом к огню.

— У древних огонь вместо кино был, — подумал Петька. — На огонь можно всю ночь смотреть и не надоест. Можно про свое думать и видеть, что захочется.

Он смотрел на веселые языки огня, и пламя расплывалось золотым заревом. Что-то большое, неодолимое, бесплотное мягко подняло его и закружило, закружило...

И он увидел Танино лицо. На ее щеках был нежный пушок, словно у подснежника. Петька сидел за соседней партой сбоку от Тани. Видел ее мягкий профиль. Солнце, глядящее в окно, высвечивало пушок на Таниных щеках. Нежный, словно у подснежника. И Петьке всегда хотелось потрогать его рукой.

А мальчишки дразнили ее длинноногой, и Петька злился на них. Хотя виду не подавал. В школе он разговаривал с нею редко и грубовато, как с другими девочками. Боялся выдать себя особенным взглядом или словом, оберегал ее от лишних насмешек. Впрочем, Тани сама умела отбиться от насмешников и никого из мальчишек не боялась.

В последний вечер они долго бродили по безлюдной

улице, прячась за деревьями от пронзительных фар редких грузовиков, тяжело гудящих по тракту.

— Осень ждать буду, — сказал тихо Петька, осторожно сжимая ее теплые пальцы. — Потому что я осенью приеду.

Она засмеялась беззвучно и погладила его короткие волосы.

— Нет, — покачала головой. — Это у тебя пройдет.

— А у тебя? — непослушными губами прошептал он.

— Не знаю, — опустила голову Таня, — может, и у меня тоже пройдет. — Помолчала, прислушиваясь к далекой музыке из клуба. — Не приедешь ты осенью... чабанить останешься...

— Приеду! — Петьке хотелось кричать. — Вот увидишь!

Он боялся отпустить ее пальцы. Ему казалось: если отпустит, то никогда не ощутит теплоты Таниной руки. И от этого ему становилось страшно.

— Меня отец отпустит; — говорил он. — Буду работать на киновидеке и приеду к тебе с картиной. Меня обязательно примут на киновидеку, потому что я хорошо курсы кончил, и скоро дадут права. Ты будешь меня ждать?

— Буду, — грустно улыбнулась Таня, грустно и чуть снисходительно, как ребенку. И у него сжалось сердце от ее взрослой снисходительности. Он и раньше с удивлением и опаской замечал, что она становится взрослее его, хотя и ровесница. А Петька оставался тем же мальчишкой. И очень страдал от этого.

— Не надо так, — сказала она и провела ладонью по его лицу. — Ты ведь приедешь на наше кочевье с картиной, — и неумело поцеловала его в уголок рта. — Хочешь, я тебе колечко подарю на память? Оно еще от бабушки. Счастливое. Ты не будешь стесняться его носить? Дай руку...

Петька лежал возле тлеющего костра, съездившись от предутренней сырости. Не слышал, как из-за кустов вышел отец и укрыл его ватной курткой.

— Ну, выспался? — отец развязывал узелок с едой и щурился от солнечной яркости. Лицо его было светлым, даже морщины попрятались. — Вставай, мясо кушать будем. Ты молодец. Ты тоже Чепин. Как твой отец и братья. Чепин — чабанская фамилия, знатная

фамилия. — Накрошил руками вареное мясо, пододвинул сыну. — Вот годика через три Сергей из армии вернется, младшие подрастут. Поедем мы все вместе чабанить. Мы с матерью — впереди, за нами семь сыновей. Красиво, верно? Народ смотреть и говорить будет: «Это Чепины на стоянку кочуют». Я гордиться буду. И ты тоже. И все мы гордиться будем, ведь Чепины — потомственные чабаны, самые лучшие в совхозе. Про нас вся Черга говорить будет. Ну, — весело хлопнул сына по плечу. — Зачем молчишь? Зачем хмуро смотришь? Говори! — Петька опустил голову, вороша прутиком уже остывшую золу костра.

— Хорошим чабаном будешь, — продолжал отец. — Я ночью глядел на тебя — не боишься. А в нашем деле не бояться, когда один в горах, много значит...

— Я киномехаником хочу, ты ведь знаешь... — не поднимая головы, сказал сын.

— Киномехаником? — поморщился отец. — Думаешь, хорошо? Я всю войну шофером был. Снаряды подвозил на позиции. Шоферил, раз надо было. А домой вернулся — чабанов не хватает. Твой дед еще живой был. Так вот он мне сказал: «Бросишь мое ремесло — счастья тебе не будет». Он много знал о чабанстве. Вся жизнь в горах прошла. И я теперь много знаю. Кому все это передать, как не сыновьям? Сын быстрее поймет отца. А отец лучше всех сыну расскажет. Вон Сергей курсы трактористов кончил, машину водить может, а чабанит. Любит отца, не отнимает у него радости. Все его уважают: знатный чабан, помощник комсомольского секретаря.

— А я не хочу! — сорвалось у Петьки.

— Хорошо думал? Твердо думал?.. А ну, дай в твои глаза посмотрю... Ну, прямо смотри... Еще смотри... Да, парень, — сказал он и подумал, что глаза у сына не бегают, значит характер не переменчивый, как погода в горах, и трудно будет сына уламывать.

— Ладно, — встрепенулся отец, — пойдем засаду делать. — Поднялся, вздохнул устало, подхватил на плечо прислоненную к дереву мелкокалиберку. И пошел, не оборачиваясь, сутулясь сильнее прежнего. Думы тяжелые в голове ворочались. Вчера приезжал управляющий. Разговорились с ним. Ну, он и рассказал, что ему сын из армии письмо написал, дескать, батя, так и так:

службу закончил, а домой не жди. Решил двинуть с ребятами на строительство. Другой бы на месте Чепина в лице переменился, а этот — нет. Виду не подал. А вечером глядел, как Сергей надраивает свою солдатскую пряжку, и легло на сердце нехорошее предчувствие.

«Зачем парень так рвется в армию из дома? — думал отец. — Не иначе, как худое задумал, не иначе, как родные места ему в тягость стали. Отслужит свое, да и останется где-нибудь в далеком городе. Парень видный, способный. Такому и работа и баба везде найдется». — И сразу припомнилось, как тарашил глаза Серега на случайно проходящие мимо их фермы машины или трактора. Вспомнил, и совсем горько стало...

Петька глядел на потерявшую упругость спину отца, на старенькую бесцветную от разной погоды кепку, надвинутую на лоб, на острый, худой затылок, и жалость кольнула сердце.

Вышли на поляну. Осторожно раздвинули сильные стебли травы недалеко от молодняка. Сели осторожно, как в лодку. Расправили над собой чашечки цветов и широкие, резко пахнувшие резные листья «пучек», придавая им вид нетронутости.

Стали ждать. Чепин, уstraиваясь поудобнее, неловко повернулся, охнул. Сын знал, что отец все собирается на курорт, подлечить свой радикулит. Характер же у отца непоклончивый, упрямый. Боль переносит молча, не любит, когда замечают его недуг. Отец пошарил по карманам, вздохнул.

Петька достал окурок из кепки, тронул отца за плечо:

— На, покури...

Тот обернулся, скосил глаза на окурок. Усмехнулся горько:

— Не надо, Петька... Спасибо... Сроду окурки в рот не брал.

— Шибко болит? — осторожно спросил Петька.

Молчание.

— Терпишь, значит? Ну, ладно.

— Слышь, Петька, — обернулся Чепин, — а если купить мотоцикл? С коляской? В город ездить будем. Чабанам без очереди продают мотоциклы. А? Хочешь?

Петька опустил глаза, и отец отвернулся: «Чужой ты, однако, стал, глаза у тебя чужие»...

Петька молчал, глядя, как по стеблям трав снуют

суетливые божьи коровки и другая мелкота. И стало думаться: приедет он, Петька, к отцу на ферму в новенькой голубой кинобудке.

— Кино приехало, — будут говорить друг другу люди. Под вечер вынут из сундуков праздничные одежды, придут со своими скамейками и табуретками. Станут уважительно глядеть, как ловко налаживает он аппаратуру и вешает серебристый экран. Рыжий Толик как-то сказал Петьке:

— Будешь работать — экран вешай повыше. Всем хорошо видно будет, и экран дольше прослужит.

— Почему дольше? — удивился Петька.

— Щупают, — засмеялся Толик. — Мы ведь сейчас все глубже в горы забираемся, на самые дальние отгоны. А там есть старики, которым кино еще в диковинку. Щупают экран, покрытие и слазит.

Петька решил на вытянутую руку поднимать экран. Найдутся и пацаны, которые с радостью помогут скамейки расставить, чтобы людям удобно сидеть было. Любая просьба киномеханика — не в тягость. Это самый желанный гость в горах. Городской ему даже не родственник.

Все придут глядеть кино. И братья, и мать. Отец тоже придет. Сядет впереди, рядом с самыми уважаемыми людьми.

Представил Петька, как включит мотор, как потекут по экрану далекие реки, засинеют горы. И люди, которые никогда не ездили дальше районного центра, увидят огромные города, где электрические лампочки горят даже на улицах.

Орел появился неожиданно. На высоте он выпрямил крылья. Слегка подрагивал кончиками, справляясь со встречным ветром. Облетел кромку леса, внимательно глядя вниз.

Петька перестал дышать. Глаза слезились от яркости полуденного неба. Он часто заморгал, не смея шевельнуться.

Орел вдруг круто развернулся, блеснув оперением. Не теряя высоты, приблизился к облачку и затерялся в нем, растворился. Однако вскоре вернулся. И летел теперь ниже, изучая ельник возле отары. Чуть шевельнул концами гибких крыльев, прошел вблизи поляны с молодняком, высматривая чабанов и их собак.

Поляна не казалась опасной, и птица лениво уплыла за лес, медленно набирая высоту.

— Опытный, сволочь, — услышал Петька шепот. Глянул на отца. Тот сидел, напряженно замерев. По лбу, перекатываясь с морщины на морщину, катились мутные капли пота. От охотничьего волнения и безветренной травяной духоты.

Свистящий нарастающий шорох и глухой удар о землю заставил обоих вздрогнуть. С поляны неслись пронзительное блеяние ягненка и яростный клекот, шум возни.

Отец вскочил, кинулся вперед, но трава скрывала распластавшуюся над ягненком птицу.

— Эй-хэ-эй! — неожиданно визгливо крикнул Чепин, скидывая винтовку и шаря глазами в высокой траве.

Орел побежал, подпрыгивая, стараясь не запутать лапы в стеблях. Ягненка, ухватив кривым клювом, волочил за собой. Вскочил на обломок скалы и тяжело взлетел, сминая траву тугим ветром от крыльев. Низко пошел в ущелье, к скалам, со свистом рассекая воздух.

Отец долго целился, обгоняя птицу темным зрачком ствола. На виске у него билась синяя жилка.

Выстрел щелкнул сломанной сухой веткой. И Петька увидел, как беркут поднял крылья в тяжелом взмахе и больше не расправил их. На миг повис неподвижно и стал заваливаться на бок, выпустив ягненка.

Беркут лежал на спине. Увидев людей, судорожно дернулся, пытался поднять маленькую, клювастую голову с нерасплесканной злобой в глазах. В светлых перьях на его костистой груди расплывалось темное пятно.

— Заработал, собака, — хрипло сказал отец и замахнулся прикладом. Петька молча остановил его руку.

Орел смотрел уже не на людей, а мимо — в небо. В его незакрытых глазах плыли белые точки.

Петька наклонился. В глазах птицы еще жили облака, но ветер шевелил уже мертвые перья. Отец подумал и перевернул ногой хищника. Обернулся:

— Помнишь? Кто орла убьет... — и снова укололся о твердые Петькины глаза. Остро, отчетливо увидел: у сына крепкий подбородок, выдвинутый вперед, как у него самого. Стояли глаза в глаза. Отец первый отвернулся:

— Чего стоишь, — сказал глухо, — видишь, овцы разбежались... Собрать надо...



ТРАМВАЙЩИЦА

I

Мялка на остановке была такая, что ко всему уже привыкшая Шура раздраженно повела плечами под полшубком на своем кондукторском месте.

— И откуда только берутся? — сказала низким, хриловатым голосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие морозы, которые не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навалились и лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад тетя Фрося говорила нараспев: «Сиротская ноне зима стоит, легкая» — и благодарно смотрела вверх, на лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась на телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. Напомнить бы ей сейчас про сиротскую благодать, да понаблюдать ехидно, как постно подождет губы хозяйка!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу. Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в трамвай, клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому стеклу окна, и она локтями оберегала сумку с мелочью и катушкой би-

летов, чтобы в давке ее не растрепали. «Ну, сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — зло думала она, потирая одеревеневшие пальцы о железный ящик едва теплого обогревателя.

А ведь у нее были хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, толстенькие и теплые, как котята. Их под осень из деревни прислала мать, заботливо предусмотрев холода.

Полюбовалась варежками Шура, повздыхала, представив, как терпеливо сидела мать вечерами, подсчитывая петли. К щекам варежки прижала, винясь перед матерью, и обрезала их почти наполовину, чтобы пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Так удобнее отрывать билеты и считать деньги.

На что похожи стали варежки! Поистерлись, обремались по краям, а пальцы беззащитно белели снаружи, скрюченные холодом.

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, мать связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в сундуке полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не было, любовно доставала кофту, примеряла перед зеркалом.

Видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе, не знала, и чем заниматься будет в конторе, тоже не представляла, лишь чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные и веселые. Да только зря кофточку берегла! Поистерлась она под шубой, вылиняла от частых стирок. Поглядела бы мать...

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепиться, и надо было срочно давать отправление.

Но не успела Шура дотянуться до кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя колесами по заснеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей водительской кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не посмотрят на мороз.

И люди уже бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, мостились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, теряясь в синеватом позднем рассвете.

— Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура, оглядывая туго набитый вагон и понимая,

как нелегко будет всех обилетить. — Кто вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — и, запустив руку в сумку, побренчала мелочью, давно приметив, что звон этот побудительно действует на людей.

— Эй, там... которые на подножке, передавайте деньги, не стесняйтесь! — покрикивала она, дыша на пальцы.

— Успеем, — глухо ворочались мороженые голоса.

— Еле держимся... Шевельнуться нельзя.

— Порядка у вас никакого! Из-за вас на работу опаздываем!

— А кто виноват, что такой мороз? — звенела медяками Шура, быстро отрывая билеты. — Только что две сцепки в депо ушли: воздушные трубки перемерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пусть хоть этим утешатся.

На нижней ступеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым воротником пальто. Явно без билета ехал. Таких Шура быстро распознавала.

— Вы рассчитались? — спросила она.

Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула руку в обрезанной варежке и тронула плечо мужчины:

— Покажите билет!

— Я сейчас схожу, — буркнул, не оборачиваясь, не терпеливо переступив с ноги на ногу.

— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зеленые глаза кондуктора. — Давайте платите!

— Вот пристала! — процедил воротник. — На, подавись... — и передал теплую пятнадцатикопеечную монету. Видно, долго грел ее в руке, берег.

— Совести нет! — вскинулась Шура. — Я что, себе деньги собираю? Трамвай не частная лавочка. Он государственный!

— Ладно. Слышали! Давай сдачи.

— Ничего вы не слышали! Из-за таких-то и план не выполняем. Вот возьму сейчас да обилечу на всю монету. В другой раз неповадно будет! — И, размотав катушку, оторвала целую ленточку.

— Да, я тебя... — сдавленно зашипел тот, дергая ртом и не находя слов. — За шиворот...

— Чего расшумелся? — недобро спросил молодой басистый голос. Высокий парень в белой пушистой шапке протискивался к дверям. — А ну, покажись!

— Защитничек нашелся! — хмыкнул воротник, обернувшись к пассажирам. — Трамвая по часу ждем, да мы же и виноватые.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на подножке спрыгнули, пропуская выходящих.

— Выходи! — сказал парень твердо.

— А может, я дальше хочу ехать!

— Ишь ты! — ехидно рассмеялся кто-то. — А говорил — схожу.

— А я теперь назло дальше поеду!

— Ходи пешком, так дешевле, — грубовато сказал парень и, поднажав плечом, вытолкнул мужчину из вагона на скрипучий снег остановочной площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажиры. — При чем кондуктор, если трамваи ломаются! Он такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина, матерясь, бежал рядом с дверью, но стоявшие на подножке не дали ему места, и он отстал.

Пассажиры смеялись. Но Шура было невесело. Она вздохнула и глянула на парня, который остался у дверей, ожидая своей, видимо, близкой остановки.

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над верхней, слегка вздернутой губой чернели усики, которые лишь подчеркивали его молодость. А глаза с не остывшим еще гневом были синие-синие, горячие. «Так редко бывает, — подумала Шура, — чтобы у смуглого такие синие глаза».

Когда он вышел из вагона, Шура оттерла варежкой полоску стекла и глядела, пока стекло не заплыло наледью от дыхания, как бежал он в коротком спортивном пальто к подъезду института, балансируя портфелем.

II

Она прошла по морозно скрипевшей тропке тесного дворика и поднялась на крылечко. Обмахнула валенки растрепанным голиком, но заходить в комнату не спешила.

Намерзнувшись за день, Шура любила постоять на крыльце минуту—другую, вобрать в себя побольше холода, а потом сразу в тепло, к уютно потрескивающей печке. Любила сидеть на корточках перед открытой

дверцей, оттаивать. Хорошо так сидеть. Тепло смывает с руки и лица корку холода, убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в бесцветное небо и там теряется. Значит, Галка дома. Шура пнула валенком желтую поленицу возле крыльца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города чем-то напоминал уголок ее тихой деревни. Так же горбится черный лесок недалеко, так же петляет тихая речка, теперь затерявшаяся в снегах. Только над темными соседними домиками, доживающими последнюю зиму, громоздятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную!» — подумала Шура и тяжело вздохнула. Надоело ей на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход от тети Фроси, все равно не дома. Да и дорого. «А вот Галка, наверно, скоро получит квартиру, — подумала завистливо. — Замуж выйдет, дадут. Семейным дают быстро», — и поглядела вверх, на огненные стекла окон, в которых плавилось уходящее солнце.

На верхушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели вороны. Шура подняла ледышку, бросила в дерево. Но вороны даже не шевельнулись. Кому охота попусту махать крыльями в такой мороз! «Птицам тоже трудно», — посочувствовала Шура, собрала с крыльца полешки, различив тонкий смолевой запах. «В деревне дрова точно так же пахли», — и свободной рукой потянула дверь на себя.

Но смолевой запах сразу увял, лишь она прикрыла за собой скрипучую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув ногу на ногу, сидел Володя, молодой еще мужчина, с сильно поношенным лицом, и курил тонкую папиросу, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела початая бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими конфетами.

— Ты? — слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчившись. Бросила к печке дрова, отряхнула полушубок от приставших комочков снега и подула на пальцы.

Володя усмехнулся линиями глазами и налил полстакана:

— Погрейся с морозу-то.

— А-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не очень-то любила, но сейчас, после холода и усталости, водка обещала спокойствие и легкость.

Она выпила, знобко передернулась. Володя протягивал развернутую конфетку.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.

— Известно где — на свиданке! — Володя тоже выпил и, не закусывая, дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.

Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам: «Шурчик! Ночевать не приду. Можешь закрыться. Галка».

Бросила записку на стол, потерла пылающие щеки. Вязаная кофточка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы подчеркивали стройность. Длинные зеленые глаза были еще темны от холода, задумчивы.

— Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.

— Нет... — Присела на корточки перед печкой, щепкой открыла дверцу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхивали зелеными искорками.

— Галка замуж выходит, — сказала она, задумчиво глядя на огонь.

Володя пожал плечами и зевнул:

— Чуть концы не отдал, — произнес он глухо, разглядывая этикетку бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травили. Мороз-то, сама знаешь, с градусом. Думали, может, прокантуемся до вечера, тариф все равно заплатят. — Он покачал бутылку, раздумывая, налить или еще подождать. — А тут прораб вваливается. Кран, говорит, надо монтировать. Наряды по аварийной... Ну, мы ноздрей повели — дело мужик говорит. Полезли. А там, на верхотуре, аж до печенки продирает. Да еще ветерок сечет. Думал, околею...

— Не околел? — спросила Шура хриловато, занятая своими думами.

— Кто? Я-то? Не-е, водкой градусы сравнивали. Сначала сорок и внутри сорок. Только так... — рассмеялся

через силу, смял окурочек в конфетной обертке. — Ты чего сегодня такая?

— Какая? — подняла непонимающие глаза.

— Как неродная.

— Чё попало... — пробормотала растерянно и поднялась. Сбросила валенки, влезла на кровать, закутав ноги концом одеяла. Смежила веки. Хорошо так лежать. Уютно потрескивала печка, поленья оттаивали, наполняли комнату тихим запахом смолы, леса.

— А Галка, если замуж выйдет, уволится с трамвая, — сказала сонно. — Так и говорит: сразу заявление подам. Посижу с недельку дома, а потом на фабрику, в тепло.

— Ну и что? — спросил Володя, поднимаясь.

— Ничего... — потерла глаза Шура, глядя на Володин старенький пиджак с мятыми отворотами, с лоснящимися, вытянутыми локтями, на его стоптанные, подеревенски подвернутые кирзовые сапоги, на припухшее лицо с двухдневной рыжеватой щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на это дело замухрышку тратить? Аж зло берет». Да и на самом деле, что хорошего в Володьке, который всю жизнь мотается где придется, ни на какой работе не держится? По чужим квартирам скитается. Где поглядят, туда и идет, как собачонок бесхозный, шалопутный.

«Вот ко мне прибился. А какой от него толк? — ворочались в голове тяжелые мысли. — Уж лучше одной!» И слушала его осторожные шаги по комнате. Не решительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, дома, на улице, в гостях ли, обдуманно, по-мужицки прочно ставил на землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах. Шагнет — и как припечатает. Не шатнешь!

А этот едва пола касается. Вот ходит и мается, и одно у него на уме: как бы к девке под бок. Косится на выключатель, а духу не хватает. Он и тут будто ворует. И то правда: ворует ее, Шурку, у другого парня. «Может, даже у того студента с летними глазами», — вдруг вспомнила она.

И стала вспоминать, как так получилось, что этот потрепанный мужик, в котором и мужицкого-то ничего нет, бродит возле ее кровати, нервно, неуверенно курит и ждет, ждет...

А началось все с петуха. Зычно прокричал петух, где-то совсем рядом. Шура от неожиданности вздрогнула. Она сидела тогда на крыльце и думала, что вот теперь придется ей жить без отца, без матери, среди чужих людей. Было тревожно и сиротливо.

Услышав петуха, обрадовалась, поднялась с крыльца, оглядела незнакомый еще дворик. Но все тесное пространство, обнесенное серым, растрескавшимся штакетником, было пустым. В углу двора к забору прилепился сарайчик, на его дверце висел ржавый замок.

Кур нигде Шура не увидела, как ни оглядывалась. Да и от хозяйки про кур не слыхала. Однако петушинный крик вновь раздался, поражая своей близостью. Голос петуха был громок, красив стройным пучком звуков. Зычный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить невидимого, но близкого певца. За двориком светлел редкой полыньи пустырь. Там громоздился пятиэтажный дом с балконами. На нем многоцветно плескалось по ветру сохнувшее белье.

Когда петух прокричал еще, Шура проследила звук и, задрав голову, увидела на балконе пятого этажа шелковисто-белого петуха. Он гулял за высокой решеткой, поклевывая бетонный пол. Несильный верховой ветерок перебирал перья развесистого хвоста, расцвечивал их золотисто.

— Чё попало... — пробормотала Шура растерянно. Обрадовалась петуху, соседство которого чем-то напоминало родную Лебяжиху. Зашевелилась тоска по дому, затуманила глаза. Дома сейчас такой же ранний вечер. Коровы домой возвращаются с поймы. Идут, пылят по улице, мычат от близости своих дворов. И над всей Лебяжихой висит густой запах парного молока, теплой пыли и горьковатого дыма летних кухонь.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пойлом во двор, к пригону, где уж дымится сырой тальник от комаров, зовет ласково:

— Ну, иди милая, иди, кормилица наша...

А Пеструха мычит ей ласково, идет медленно, несет тугое вымя.

Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи

белым платком повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда в нем. Будто и молодости у нее не было. Она ни разу отцу слова поперек не молвила. Все тихонько да покладисто. Обстирывала, обшивала, кормила ораву ребятишек.

Принесет ей Шура воды ли из колодца, поможет ли белье в речке прополоскать да вальком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей кто сказал спасибо за то, что всю молодость на них истратила? Нет, наверно.

А где она, эта орава теперь? Поминай, как звали: все разлетелась по далеким городам. Одна Валька, младшая, еще при ней: крылья не выросли.

Ясный месяц загляделся в горенку тво-о-ю,
Королевичу ты снишься в далеком кра-а-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать, сидящую у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак. За печкой сверчок пилит. Шершавые теплые руки поправляют одеяло у плеча, и так хорошо от их прикосновенья.

Станешь ты красивой кралей, баюшки-баю,
Королевич приласкает головку тво-о-ю...

Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, где была железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла, оглянулась: дом уж слился с другими домами, а платок материн все белел. Такой и осталась в памяти мать, будто за девятнадцать лет Шура другой ее и не увидела...

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладоши на пол. Потом выглянул мальчишка лет шести, карпузик в красной рубашке, и стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.

У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее новая подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастливая, она так загадочно улыбнулась на прощанье. Тетя Фрося с обшарпанной кирзовой сумкой подалась на барахолку. В сумке у нее — пуговицы, нашитые на картонки. Хозяйка работает техничкой в депо, моет по ночам трамваи, а заодно и пуговицы собирает. Не пропадать же добру.

Сидела Шура на крыльце и скучала. Подруг еще не завела, а одной в город идти не хотелось. Подумала-по-

думала да и пошла потихоньку к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо обжитого пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха на балконе.

Старичок был одет празднично; дешевый серый костюм сидел на нем мешковато. Видать, не часто надевать его приходится. По виду старичок был деревенский и тоже скучал без привычного окружения.

— Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав рукой на балкон.

— Мой, — остановился старичок обрадованно.

— Хороший петух. Поет страсть как красиво.

— Такой петух один на все село был, — разгладил морщины деда и глаза молодецки засветились. — Что петь, что подражаться — самый первый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?

— Вишь, какое дело, сын у меня тут живет, — близоруко, из-под руки стал смотреть на дом, пытаюсь найти балкон сына, но не нашел, потому что все они одинаковы. — На заводе тут токарем работает. Квартиру, вишь, дали, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал посмотреть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все пилила: поговори, дескать, может, Иван воротится.

— Обратю в деревню?

— Ну, а то как? Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не узнает. Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не пришли — погибли. Ну вот, мы его и хотим вернуть назад. А чего? Дом у нас справный. Всем места хватит. Жить бы нам с молодыми да парнишку нянчить. Чего его в садик таскать, к чужим людям? Одним словом, вертаться ему надо. Директор совхоза, Артемий Кузьмич, мужик-то голова, обещал, в случае чего, дорогу оплатить. Иван больно уж хороший токарь. Ну, а петуха привез, чтоб Ивана домой потянуло. Мальчишкой он любил петухов. Все, бывало, с друзьями срамливал петухов — чей побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселела от разговора.

— Чего как? — не понял старик.

— Я говорю, сын-то поддается?

— А-а, только петух зря изводится! Да какая ему

на балконе жизнь? Ему по двору гулять надо, кур топтать. А тут... ни подражаться, куриц опять же нету. Разве это жизнь? Извелся весь, глядеть на петуха больно.

— Ну вас, дедушка, — смутилась Шура, обходя старика.

— Ишь ты, фи-и-фа... — укоризненно сказал он вслед. — Застеснялась. А чего стесняться-то? Животная — она и есть животная...

Недалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура села на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени, стала смотреть, как ползет вверх серая панель, подвешенная за крюк. Доски нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый запах соснового бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и негромкие голоса рабочих на этажах. Потом стала наблюдать, как ползали по доскам рыжие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда и не знали, куда податься.

— Не меня ждешь? — услышала вдруг.

Шура подняла голову. Перед нею стоял парень с блеклыми глазами, в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папиросу и смотрел на Шуру заинтересованно.

— Нужен ты мне...

— А чего тогда здесь сидишь?

— Просто. Если нельзя — уйду, пожалуйста! — она поднялась с досок и хотела уйти, но парень загородил ей дорогу. Шура могла бы его обойти, могла бы сказать пару ласковых, но почему-то не обошла и не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, чего-то ждала.

— Как тебя звать?

— Не имеет значения.

— Ух, какая! А может, я интересуюсь.

— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай свататься, раствор подавай! — Они стояли на крыше, выглядывали из оконных проемов, толстенькие в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.

Рабочие его больше не торопили, им, видать, хотелось посмотреть, как сватается Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они закуривали и отпускали шуточки.

— Ты не уходи, — сказал парень. — Скоро у меня смена кончается. Погуляем. А? — Он смотрел на нее просительно и жалобно.

— Не обязательно! — ответила Шура и пошла. Ей не хотелось, чтобы ее вот так разглядывали со всех сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучался от того, что всю эту сцену ребята видели и теперь будут потешаться над его неудачливостью.

Шура обернулась и пожала плечами. Парень был невысокий, серый какой-то, потертый. А ей нравились ребята высокие и черные. Она глядела на Володю. Он стоял упрямо нахохлившийся, уже немного злой. А глаза сиротливые, необласканные. И Шуре вдруг его жаль стало. Она слегка улыбнулась, мимолетно, но обнадеживающе, и быстро пошла, почти побежала.

Через неделю она пришла сюда снова. Штабеля досок уже не было. На черной, еще не оправившейся от тяжести земле тянулись запоздалые, бледные стебли трав. Долго они пробивались в темноте между досками и теперь, почувствовав простор, пытались нагнать ростом высокую траву. Зато на разровненной площадке перед новым домом светлели деревянные грибки для завтрашних жильцов-ребятишек.

Шура села на скамеечку под грибком, опустив ладони на шелковистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. Маляры еще не успели ничего выкрасить, и грибок пах лесом. Закрыв глаза, девушка ощутила лицом слабое уже тепло низкого солнца. Было светло и спокойно.

— Приветик!

Перед ней стоял Володя, часто затягиваясь папироской, и смотрел на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и сейчас он появился неожиданно — она не слышала шагов.

— А ты молодец! Пришла ведь... — Володя сел рядом с ней. — Я тебя сразу сверху увидел. Даже гудел тебе. Не слышала?

— Нет.

— Как тебя звать?

— Шура.

— А меня Володькой. — Он улыбнулся ей. — Торопись куда?

— Да нет, — ответила Шура равнодушным голосом, ковыряя носком туфельки землю.

— Знаешь, ты подожди, а я переоденусь. Вон наш вагончик. А? Только не уходи. Ладно?

Шура промолчала. Это Володю обнадежило, и он побежал к зеленевшему неподалеку вагончику, возле которого собирались рабочие — был конец смены. Шура смотрела вслед парню и думала: уйти или остаться?

Прибежал Володя быстро — она так и не успела решить. На нем был поношенный черный костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубахи казался широковатым для его шеи. Видно, у ребят перехватил. Шура поняла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к мелочам взглядом.

— Ну, — сказал он, отдышавшись, — куда двинем?

— Мне все равно.

— Тогда в кино.

Тихий полумрак опускался на город, воздух будто густел. Медные отблески в окнах домов погасли, и окна стали черными. Откуда-то неслась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя и взял Шуру под руку.

— На трамвае. Кондуктором.

— Да? — почему-то удивился Володя и даже руку ее выпустил на мгновение, но сразу поймал локоть и взял увереннее.

— Не похоже разве? — усмехнулась Шура.

— Не знаю, — замялся Володя. — И давно?

— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Лебязиху не слышал?

— Не-е... Что, плохо там, в Лебязихе?

— Хорошо.

— А почему приехала?

— Работы нет. Дояркой неохота, а больше некуда. И вообще, там не так, как здесь. Клуб третий год строят и построить не могут. А вы — вон как быстро.

— У нас — темпы, — солидно сказал Володя. — Хорошо платят, мы и вкальваем как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам устроился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат: «Цепляй панель», — а он как привязанный.

— Да ну тебя! — Шура выдернула руку.

Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не

успели подойти, как уже спрашивали, нет ли лишнего билета.

— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише. На улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо шли люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что уже был звонок. Володя морщил лоб.

— Знаешь что? — сказал он вдруг. — Пошли в ресторан.

— Да ну... Неудобно...

— Ты что, ни разу там не была?

— Нет...

— Ну, тогда надо сходить. Привыкай! — покровительственно положил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил через дорогу.

Перед стеклянной дверью толпились ребята в вечерних костюмах, поглядывали тоскливо сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме, плавал раззолоченный швейцар, неприступный и важный. Володя постучал ему. Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телеграмму передать товарищу, — Володя торопливо шарил в кармане пиджака.

— Пройдите, — разрешил тот, впуская. — Ну, где телеграмма?

Володя повернулся спиной к прозрачной двери, протянул швейцару смятую трешку. Тот неувовимо сунул деньги в нагрудный карман ливреи, поплыл в зал, попросив Володю подождать.

Вернулся он быстро, шепнул:

— Второй столик в первом ряду.

— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.

— Давай побыстрее! — проворчал тот, приоткрывая дверь и сдерживая плечом напивших ребят.

Володя схватил за руку загрустившую уже Шуру, потащил за собой. Она еле успевала за ним. В ресторане было душно, над столиками плавали слои синего дыма, пахло столовой и потом.

Пока они шли, Шуру разглядывали десятки мужских глаз, и ей было неприятно. Села за столик, положила руки на колени, несмело огляделась. За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая девушка и широколицый парень с твердым, спортивным подбород-

ком. Он изучал меню, изредка спрашивая ее: «Будешь?»

Она согласно кивала головой, глядя на него несмело. Подбежала официантка, раскрыла блокнотик, замерла выжидающе.

— Два сыра, — подмигнул ей парень. — Два бифштекса...

— Ну, ну! — торопила официантка, нетерпеливо оглядываясь на соседние столики. — Пить что будете?

— Двести столичной... Вишневый ликер ничего?

— Очень хороший, девушкам нравится...

— Я пойду, — вдруг встала Шура.

— Куда? — растерялся Володя.

— Домой. Мне надо...

Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку, пошел молча, ни о чем не спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они остановились и тоже молчали.

— Знаешь, — сказал он хрипло, — за день накачает тебя на верхотуре, голова как не своя, руки как у алкаша... — Он потряс кистями и вздохнул, явно взывая к ее женской жалости.

— Мне там не понравилось...

— А мне с тобой так посидеть хотелось...

Шура поглядела на холодные, темные окна комнаты. Галка опять, видно, продружит до утра. А она, Шура, гораздо симпатичнее подруги, моложе, будет скучать, чутко ловить за окном звуки чужой жизни да вздыхать. Галка утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с собой чужой запах. «Ты не скучала?» — спросит сочувственно и чуть виновато, но столько взрослого женского превосходства будет в ее каждой интонации, в каждом движении.

— Хоть бы погреться пригласила, — сказал Володя, прильнув губами к ее щеке, и Шура не отстранилась...

IV

— Старенький уже трамвай. — Шура сочувственно погладила помятую, обожженную сваркой во многих местах облицовку. — Дребезжит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется на скорости, а он ничего, дюжит. Надо же, крепкий какой!

— Куда крепче, чем вон те. — Галка обернулась к поблескивающим свежим лаком иностранцам, возле ко-

торых суетились слесари. — Не успели на линию выйти, и на тебе, поломались. С нашими их не сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сварку-то, — озаботилась Шура. — А то неудобно на обшарпанном ездить по городу, — и потеряла варежками уши. Она их чуть не обморозила, пока бежала в депо.

— Дуреха, — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка: — Без ушей останешься, кто полюбит?

— А-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула рукой и подошла к водительскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, заглянула любопытно в светлый подрагивающий квадрат. На нее заинтересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий контраст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неоsvещенные глаза были глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом светилась вокруг головы. Может, при ярком свете все бы выглядело проще, обыденнее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую прелесть и загадочность ее изображению.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. Вчера голову укутывала простая шаль — и ничего, не хуже других. А теперь, когда вместо шали праздничная шапочка, — вообще сплошной блеск! Шура берегла шапочку и надевала лишь в кино.

Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку пришлось занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка была хороша на диво. Жаль только, что сейчас на Шуриных ногах валенки. Шапке недостает сапожек с длинными лакированными голенищами. Тех самых, что красуются на витрине обувного магазина. Только тут одним авансом не обойдешься!

Шура взвизгнула: сзади ее облапал набежавший невесть откуда губастый Толька, слесарь. Несуразно длинный, улыбчивый, он лез к ней со слюнявыми губами, норовил поцеловать, дурачился. Шура вырывалась, хрипло смеясь.

— Кончай заигрывать! — сказала Галка деловито. — График подходит.

Толька отпустил Шуру, огляделся, придурковато ухмыляясь:

— Уй ты, какая красивая!

— Чё попало... — смутилась Шура и покраснела,

негодую на Тольку за то, что помял старательно причесанную шапочку.

— Слышь, Шура, ты куда так? — приставал Толька, не отводя от нее своих шалавых щенячьих глаз.

— Ладно, гуляй! — бросила сердито Галка. — Много вас таких! — И, поднявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.

— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. — Слышь, почему у тебя такой голос?

— Поори-ка с мое, совсем никакого не будет! — хмуро ответила Шура и поднялась в вагон. Маленького праздника как не бывало. В самое больное место угодил шалопут.

— Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда он зайдет, ты дай тройной звонок. Я погляжу, — подмигнула лукаво. Шура улыбнулась ей вымученно и стала шарить над головой кнопку сигнала.

Вздвогнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора — на улицу. И покотился, покотился, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая и плюща искрящимися колесами ночную поземку на рельсах.

Побежал, набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым шумом, вспугивая утреннюю темноту неярким желтым светом. Мчал, глотая на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с открытыми глазами досматривали свои сны на холодных сиденьях.

«Он, наверное, спит еще» — думала Шура, привалившись боком к тряской стене вагона. Вспоминала его лицо, молодое и доброе. «С ним, наверно, очень спокойно и прочно», — думала Шура и гадала: как его звать?

Глядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо шарят по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые тени касаются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих сумерках.

Утренний сон ненасытно сладок. Это Шура по себе знает. Когда будильник начинает захлебываться, она просыпается сразу, будто от удара током. Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке. И хотя Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, Шура еще несколько минут лежит с закрытыми глазами, раду-

ьясь ласковости постели, растягивая убажжающие минуты тепла и покоя.

Ах, какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, минуты. Много бы дневных часов отдала за них Шура, не пожалела бы, чтобы понежиться чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под нагретого ею одеяла в остывшую за ночь комнату, зябнуть, одевая холодное платье. Пол такой ледяной, ноги сразу гусиной кожей покрываются. Приходится прыгать с ноги на ногу, чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучей аллее в депо, еще холоднее делается. А может быть, те минуты тепла и покоя так дороги потому, что скоротечны? И если бы их можно было растягивать до бесконечности, то скоро приелось бы это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей обычной аккуратности, запоздает или придет раньше и попадет либо в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как зимнее солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной крыжовник, таких ожидающих глаз. Это будет так несправедливо к ней, терпеливо мерзнувшей без теплого платка и варежек!

Но скоро не стало времени мечтать. Начался час «пик». Пассажиры с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура боялась, как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем замерзнет.

Некоторые особенно людные остановки трамвай затравленно проскакивал с ходу. За ним бежали и махали руками люди и скоро отставали, немо разевая рты в недобром слове. Шура на этот раз не ругалась с пассажирами, висящими на подножках. Она знала, что они выказывают протест, не торопясь передавать деньги, и вела с ними переговоры добрым домашним голосом, старательно следя за интонацией. Нарочно говорила тише, чтобы голос не звучал надтреснуто и хриловато.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, простуженный в зимнем трамвае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском месте, у нее был чистый и звонкий голос, а через месяц уже кричала грубовато и безразлично: «Двое вошли с передней площадки, передавайте на билеты, не стесняйтесь!» Каждую живинку в

голосе глушила, чтобы самой не робеть и не привлекать взглядов.

Пассажиры покорно молчали или добродушно посмеивались. Все они, опытные трамвайные невольники, давно поняли и мирились с тем, что кондуктору можно и прикрикнуть на них и поворчать: служба такая. Попадались среди пассажиров и люди ученые, знающие тонкости далеких Шуре наук. Здесь же куда девалась вся их ученость! Сдавят со всех сторон — не пикнешь. А начнешь роптать, получишь от соседей старое, как трамвай: «Вам тесно — на такси езжайте!» Да еще кондуктор добавит: «Середина, пройдите вперед! Что вас, каждого за руку вести?» Пассажир, натерпевшийся на остановке, становился податливым, едва попадал в трамвайное нутро: безропотно протискивался вперед, строился «елочкой». Кондукторские окрики ему не в тягость. Лишь бы доехать!

Шуре нравилась прямолинейная демократичность трамвая. Заходи кто хочет, становись где удастся или куда вынесут дружные плечи твоих собратьев. Трамвай не «Волга». Ему плевать, какая на тебе шапка: поблескивающая дорогой остью или копеечная цигейка.

Автобус — тот иногда, глядишь, да и промелькнет пустой, не достаивая стоящих на остановке скрипом тормозов. Укоризненно глядят ему вслед, но что поделаешь: «Заказной» или «Служебный». Не про всякого заказан, не каждому служит.

А трамвай не бывает ни заказным, ни служебным. Он для всех, и никто не своротит его с этого пути. Шуре нравилось глядеть, как униженно приседали женственные «Волги» и пузатые автобусы, в том числе «служебные», когда ее трамвай по-хозяйски неторопливо переползал бойкий перекресток. Предупреждающе Галка позванивала ущемленным шоферам: не суйтесь, это мое право — первым пересекать дорогу! Только одному мне можно подавать голос, трезвонить, как общий городской будильник. Мчи, трамвай, по городу, позванивай что есть мочи!

V

Студент появился как-то вдруг. Шура укололась о его синие глаза, но взгляда не отвела. Студент по-своему истолковал внимание кондуктора. Пошарив в кармане

короткого пальто, подал монету. Сунул в перчатку протянутый билет и стал протискиваться к окну.

— Товарищи, давайте продвинемся! — ласково сказала Шура, и сама пошла, чтобы освободить студенту место возле обогревателя. Вон как замерз: ресницы и шапка в изморози, на щеках бурые пятна. Морозом прихватило, оттирать надо. Пусть прогреется возле черного дырчатого ящика со спиралью внутри. Он такой нежный, а ей уж ладно.

Его монетку Шура зажала в руке, отдавая ей свое скудное тепло. Ей казалось, что от этого и студенту хоть чуточку теплее станет. «Неужели не узнал?» — и Шура еще раз, смело, ясно посмотрела в глаза парню. Посмотрела дольше приличного, угнетая стыд.

Студент обескураженно поморгал ресницами: дескать, билет имею. Потом что-то в нем дрогнуло, он словно узнал, вежливо улыбнулся и отвернулся к окну. Так и не заметил скрытую ласку в потемневших от стужи глазах кондуктора.

Сникла Шура, ее лицо сразу побелело обескровлено. Хотелось тоже забиться в угол и ничего не видеть. Но кругом были люди, и надо было продавать билеты, объявлять остановки.

От обогревателя студента оттеснили, и там старушка, закутанная в серую шаль, грела руки, ругала мороз. Против старушки взяла злость, да ничего не поделаешь. Шура молчала, боялась раздражением проявить хриплость голоса и только добела прикусила губу.

А трамвай бежал, позванивал, поскрипывал, покачивал пассажиров, и Шура отошла сердцем, объявляла остановки, потому что в замерзших окнах ничего не видно: ни домов, ни улиц.

Монетку студента она спрятала под шубу, в карманчик кофты, в тепло. Она изредка посматривала на него, но видела только стриженный затылок, да большую пушистую шапку, да розовые мочки ушей.

«Что для него трамвай? — думала Шура. — Вот выскочит из вагона и побежит по скользкой дорожке к большому, теплomu зданию с тяжелыми дверями и будет сидеть на лекциях, умненький и спокойненький. Тепло ему будет, чисто. Ни тряски, выматывающей душу, ни нервотрепки, и думы в его красивой голове будут тоже красивые и научные».

И вдруг ей стало мечтаться, что она, Шура, строгая и красивая, сидит со студентом за одним столом и тоже слушает пожилого, солидного дядечку — преподавателя. Круглым, ровным почерком записывает она в тетрадку умные слова, и светло в голове от такого соседства и от всего прекрасного, что она тут видит и слышит.

И тут же мысленно спохватилась, смутилась от нарисованной воображением картины. Нет, видно, не сидеть ей в одной аудитории с этим милым парнем, которого она даже не знает, как звать. С восьмилеткой в институты не принимают. Сколько уговаривал отец: «Учись, Шурка, кто тебя на работу гонит! Слава богу, живы, здоровы, поддержим». Она усмеялась весело, словно зная что-то, чего не знал отец: «Коровам моя грамота больно-то нужна! И без образования молока дадут». А жизнь-то оказалась хитрее Шурки!

— Кондуктор! — голос не насмешливый, скорее сочувствующий. — Я уж третий раз прошу оторвать билет, — говорит ей пожилой мужчина, потирая бурые щеки.

— Ой! — спохватывается Шура, разматывая катушку замерзшими пальцами, потому что, стесняясь студента, давно стянула с рук обрезанные варежки.

— Замечталась девка! — распустила морщины отогревающая старушка возле кондукторского места.

Когда студент вышел и, смешно выкидывая длинные ноги, побежал к подъезду института, Шура вспомнила: так и не дала Галке тройной звонок — забыла. Но не пожалела об этом. Что тут смотреть? Нечего смотреть... И вынула из-за пазухи свои варежки.

А вечером в полупустом, а потому особенно холодном и тряском вагоне Шура достала монетку и благоговейно разглядела ее. Это был обычный тройничок, потемневший от времени и многих рук. Шура нежно подышала на монетку, потеряла о валенок, и тройничок застелел благодарно.

Она склонилась лбом к стеклу, глядя в темную полынью окна. Мимо проносились огни ателье и магазинов, бросая зеленые и оранжевые блики на сугробы. По скрипучим тротуарам шли люди. Над ними по-лебединому гнулись серебристые столбы с пронзительными лампами, вокруг которых стлы голубые ореолы.

Эти огни снились Шуре в Лебяжихе, как снятся сей-

час ее сестре. Представляла: идешь вечерней улицей, чокаешь каблуками. Хочешь — в кино, хочешь — просто гуляй по аллейке, лова на себе заинтересованные взгляды городских симпатичных ребят.

Ночью, когда родные засыпали, Шура садилась к окну. Лед на стекле искрился, радужно переливался, и ей грезилось, как идет она, Шура, по звонкому асфальту со своим мужем — высоким, чернявым, очень обходительным городским человеком. Он наклоняется к ней, шепчет хорошие слова, и Шуре хочется, чтобы лебяжинские девчата увидели ее и позавидовали.

Эх, город, город... Каким беззаботным, сотканным из одних радостей виделся! Как дразнили и манили твои таинственные огни. А теперь они, поблескивая, освещивая, подмигивая, бежали мимо тебя, мимо трамвая.

VI

— И когда этот мороз кончится... — вздыхала Галка. Она лежала на кровати одетая, не мигая глядела в потолок.

— Обещали оттепель, — откликнулась Шура от печки, поворачивая к подруге разгоряченное лицо. Она не знала, будет оттепель или еще постоит морозы. Просто ей хотелось немного утешить подругу, которая была сильно не в духе.

Купленные в ларьке мороженые пельмени быстро оттаяли в кипятке, набухли и дали крепкий запах. Шура отодвинула крышку кастрюли, помешивала ложкой, чтобы пельмени, всплыв на поверхность, не выплеснули бы на плиту наваристый бульон.

— Вставай, сейчас есть будем, — позвала она, расставляя на столе тарелки. — Ешь, пока рот свеж, завянет — есть перестанет, — вспомнила материно.

— Слышь, Шурчик, — шевельнулась Галка. — Сбегай за красненькой. Внутри что-то такое... скребет.

— А может, не надо? Может, с этого еще хуже будет?

— Мне хуже уже не будет, — вздохнула Галка и встала, поправляя рассыпавшиеся жидкие волосы.

Шура озабоченно поглядела на подругу и тоже вздохнула. Она чувствовала: не вяжется у подруги личная жизнь. Опять ухаждёр тянет со свадьбой, может, совсем

раздумал жениться. А ведь она только из-за того с ним и крутила.

— У меня тоже неважно, — горько прищурилась Шура и вынула из кармана кофточка ясный тройничок. Подержала на ладони, словно взвешивала, снова опустила в карман. Ей хотелось, чтобы Галка немного отмякла душой, видя, что и ей тоже не везет.

— Ты что, дуреха, неужто и правда влюбилась? — усмехнулась Галка, присаживаясь к столу и подвигая к себе дымящуюся тарелку.

— А что, разве не такая? — дурашливо засмеялась Шура. — Рожей не вышла, а?

— Рожей ты вышла, ничего не скажешь... Будь я мужиком, влюбилась бы. Да ведь твой студент институт кончит, каким-нибудь серьезным дядечкой будет. Неужто ты ему пара, необразованная-то? Ему с тобой не об чем и поговорить будет.

— Да? — быстро спросила Шура, и улыбка стаяла с лица.

— А ты думала... Знаешь, какая ему нужна? — Галка встала, манерно подняла брови и жеманно прошлась по комнате. Туфли ставила на широкие рыжие половицы осторожно, будто на хрупкий ледок. — Вот так. А на тебя и не посмотрит. Кто ты такая? Трамвайщица. Ему один черт, автомат в вагоне или ты. Получил билет и к окну. В окно-то веселее глядеть. Дорога короче кажется.

— А вот и неправда, неправда! — запальчиво крикнула Шура и отложила ложку.

В окошко несмело постучали. Галка вскочила, отодвинула занавеску, со скрипом открыла форточку. Сизый пар тотчас пополз по ее волосам.

— К тебе... — сказала Галка, оборачиваясь усмешливо.

— Кто? — почему-то екнуло сердце и заторопилось, зачастило.

— Володька. Просит, чтобы вышла. Поговорить хочет.

— Катись он подальше...

— Так и сказать ему?

— Так и скажи...

Галка прикрыла форточку, аккуратно расправила занавеску, села за стол, ежась от холода:

— Думала — студент? А что, прикорми его, как это, белоглазого. Улыбнись, он и клонет.

— Что ты! — вспыхнула Шура и рукой отмахнулась испуганно. Сама мысль показалась нелепой, обидной, противоестественной. — Он не пойдет, он не такой!

— Знаем мы этих чистеньких! — злобно промычала Галка, обжигаясь пельменем. — Только мигни, побежит!

Пельмени оказались не такими вкусными, как ожидала Шура, будто весь вкус вышел паром, расползся по углам, бесцельно растратился. Она поднялась, потерянно прошлась по комнате и легла на кровать лицом к стене. Там, на дешевом матерчатом коврикe, шевелилось от ее дыхания привязанное за ниточку развесистое перо из хвоста работающего петуха. Не смог он сманить Ивана в деревню, и из петуха сварили суп. А перышко ей подарил карапузик в красной рубашке. Переливается перышко золотисто.

Галка тоже поднялась из-за стола, прошлась по скрипучим половицам, взяла с окна зеркало. Она долго рассматривала свое отражение и хмурилась. Подавила двумя пальцами прыщик на подбородке, пожевала губами, замечая с горечью ранние морщинки у губ.

— Старею я, Шурчик... Скоро двадцать пять, а жизни еще и не видела. Подумать только: двадцать пять... Крему, что ли, купить? — пробормотала озабоченно. — Кожа какая-то желтая... Эх, Шурка, Шурка, жила бы в своей деревне, доила коров, парное молоко пила. С него лицо розовое делается, свежее. Сравни городских девчат с деревенскими. У городских девчат лица усталые, цвет опять же не тот. Приглядишься как-нибудь на улице.

Шура повернулась к Галке, слушала и жалела ее, жалела себя. Мелькнул в памяти белый материн платок.

Королевич приласкает голову твою-ю...

Защемило сердце. Вот придет весна, скворцы прилетят в Лебяжиху и будут жить в скворечнике на старой березе в огороде. Как она радовалась прилету этих птиц, блестящих, словно помазанных коровьим маслом!

Отец как-то собирался срубить старую березу — затеняла помидоры. Шагнул с топором, сочно врубил лезвие и вдруг отступил. Над деревом тревожно кричали скворцы. «Как это я забыл про вас, скворчики» — и топор отбросил, негодую на себя.

— Поговори со мной, — попросила Галка, глядя в окно, на проступающие сквозь лед огни высоких домов. — Тебе еще рано вздыхать. Улыбаешься? Эх, Шурка, Шурка... Ты не скоро постареешь. Улыбка у тебя навивная. Научи...

— Ложись-ка спать! Завтра вставать рано.

— Не усну я. Всякая чепуха в голову лезет.

— А ты ложись и думай о чем-нибудь хорошем, легче будет. Попробуй, на себе испытала.

Шура улыбалась и думала, что завтра она, наверное, снова увидит своего студента, а ради этого она согласна вскакивать чуть свет и бежать по морозу. И вообще завтра может случиться что-то светлое и долгожданное.

Лежала и думала, и слушала злорадно, как похрустывают за окном неуверенные шаги.



СТАРЫЙ ДОМ

— И куда его несет, сердешного? — беспокоился Гаврилыч и все жевал желтый от махорки завиток бороды. Трещавший неподалеку трактор путал мысли и беспокоил.

А беспокоиться старику не хотелось. Он только что выпил две кружки чаю с прошлогодним малиновым вареньем и лежал на кровати, укрывшись старенькой шубой. Весь разопрел от внутренней теплоты. Хорошо ему. Во рту сладко. В животе крепкий малиновый настой бродит.

Старик лениво погладил овчину. Шерсть местами хоть и повытерлась, а кое-где свалаялась грязно-желтыми клочьями, все же не совсем потеряла способность беречь тепло своего старого хозяина. И Гаврилыч почувствовал к шубе благодарность.

Сколько раз уже решался бросить ее к порогу — ноги вытирать. Потому что сын прислал из города новую шубу. Да только старую жаль было. Шуба многие годы охраняла Гаврилыча от ветра и снега, от морозов, и вдруг под ноги — грязные сапоги обшаркивать. Не по справедливости. В стужу она, ясное дело, уже плохой помощник, а в избе иной раз накинуть на плечи — ничего, пригреет. И вообще новую еще обнашивать надо,

да привыкать к ней. Повесил как-то старую на гвоздь, отошел — похожа на хозяина: выгнула спину сутуло, и рукава вперед тянутся, гнутые в локтях. Того и гляди, соскочит с гвоздя и заковыляет по улице. А кто из соседей глянет и подумает: Гаврилыч куда-то подался.

Старик вздохнул и поглядел на давно не беленный потолок, весь в темных трещинах и потеках. Мелкие, едва заметные трещинки ручейками сливались в черные реки. Они неподвижно струились по потолку, обтекая островки неровной бугристой штукатурки.

Гаврилыч любил глядеть на эти застывшие ручьи и реки. Вспоминалась своя жизнь, которая когда-то тоже пробивала русло в большую реку. А теперь вот израсходовались годы и понесло его по течению, как ноздреватую льдину по разбухшей реке. И оставалось только прошлое. Оно согревало, как старая шуба.

Сейчас же старик глядел в потолок незряче, будто в туман, и слушал, стараясь не шевелиться, чтобы не звякали медные шишки на спинках чуткой кровати.

Где-то уже совсем недалеко трактор гремел всем своим железным телом. Скрипели, лязгали гусеницы на камнях, и натужно замирал мотор на крутяках.

— Неужто сюда? — тихо проговорил старик. Взвзвизывая невесть откуда, в душу плеснул холодок неясной беды. — Может, свернет еще... теплилась надежда, и он дыханье попридержал, чтобы лучше слышать.

Ни автомашины, ни трактора по этой короткой, затравленной среди плетней и огородов улице не ездили. Люди обошли вниманием глухую улочку, потому что она никуда не вела. Ни на пашни, ни на выпаса, ни в другой район. А раз никуда не ведет — нету ей никакого строительства. Ни тротуаров, ни новых домов. Какой была она много лет назад, такой и осталась. Тихой, поросшей низкой травкой, чистой после дождей и не пыльной в жару.

Изба Гаврилыча стояла на отшибе. Хозяин, строивший ее, не стал жаться к другим домам и плетням. Зачем тесниться, когда такой простор? И вот изба словно отбежала от других да и замерла удивленно: некуда дальше. Рядом петляла неглубокая речка с чистой водой и пологими песчаными берегами. За нею неширокий ромашковый луг. А над лугом поднималась зубчатая стена соснового леса с березовыми вкрапинами.

Так и стояла изба, удивленно глядя на мир покосившимся окном, с когда-то нарядными, а теперь серыми растрескавшимися наличниками.

Шум трактора наплывал, туго заполнял избу. Стекла в рамках звенели надтреснутыми голосами. В пустом ведре на лавке гулко постукивал жестяной ковшик.

Понял Гаврилыч, что трактористу сворачивать уже и некуда. Высвободил ноги из-под шубы, спустил с кровати. Нашарил самошитые тапочки, пошел к окну. Стекло показалось тусклым, и старик потер его рукавом рубахи. Пригляделся.

Покачиваясь на неровностях неезженной улицы, прямо к его избе тащился бульдозер. Гусеницы струились, будто два ручья перекатывались по камешкам, играя на встречном солнце. На широкий, отполированный земляной работой нож бульдозера глядеть больно. Позади, сторонясь пыли, торопливо шли два мужика. Беззвучно открывали рты, скалились улыбками.

Увиденное забеспокоило сердце, Гаврилыч расправил занавеску, чтобы все стекла прикрылись и не осталось бы щелки для подглядывания. После пружинящим лесным шагом отошел к двери. Стараясь не скрипнуть, задвинул засов в сених, плотно прикрыл дверь в избу и перевел дух. «Кабы знать, так ушел бы куда», — подумал расстроено и сел на кровать, уронив руки.

Бульдозер той порой доехал до избы, поревел мотором и притих. Гаврилыч, утишая рвавшее ребра сердце, кинул шубейку к порогу, прилег на нее, ловя звуки за дверью. Послышались голоса мужиков. Крыльцо непривычно заскрипело от тяжелого топота. В дверь негромко, будто робея, постучали.

Гаврилыч затаился.

— Это тебе не город, здесь без стука в самый раз, — слышался насмешливый голос, и дверь сильно потянули на себя. Засов заскрипел.

— А может, нету его? — неуверенный молодой голос.

— Куда ему деваться...

— Так ведь заперто вроде...

— Изнутри закрылся. Дрыхнет, поди, как барсук.

«Сам ты барсук, леший», — мысленно ругнулся Гаврилыч, боясь шевельнуться.

В дверь постучали настойчивее.

— Говорю же, нету его!

— Тут... — Дверь рванули так, что затрещали старые петли. «Ну и силушка, — забоялся дед. — Сломает дверь-то». Он уже понял, что отсидеться не удастся и разговора с мужиками не избежать.

— Кто там? — спросил нарочно слабым, сонным голосом.

— Я же говорил — дрыхнет, — это вполголоса, а вслух почтительно: — Откройте, Игнат Гаврилович!

— Чего надоть?

— Бумага вам из конторы!

— Какая бумага?

— Откройте-ка дверь, покажем!

«Настырный какой», — озлился старик. Он долго вошел с засовом. Тянул время, хотя понимал всю бесполезность этого. Ждал он эту бумагу. Давно уже ждал.

Дверь отворилась, плеснув солнце в полутемные сени. Гаврилыч заслонился ладонью от яркости и от троих мужиков на крыльце. Впереди стоял высокий, худой парень в золоченых очках. На нем была чистая синяя спецовка. Очки весело поблескивали.

— Здравствуйте, Игнат Гаврилович, — подался вперед высокий. — Приглашайте в дом! — голос праздничный, ласковый.

«Ишь ты, — немного успокоился старик, — как на величивает. А давеча барсуком обзывали». Он поглядел на всех троих поочередно и стал гадать, который обзывал. «Вроде не этот, золоченый, ишь, как уважительно глядит». На второго мужика глянул мельком. Пожилой, неприметный, даже серый. В тени держится. «Этот при его годах не позволит. Видно, тот, чубастый, третий. Ишь, чуб-то напустил на бесстыжие глаза. Этот кого хошь обзовет, глаза-то будто маслом помазаны, скоромные».

— Доброго здоровьичка, — запоздало ответил Гаврилыч, отрывая глаза от чубатого. — Заходите в избу, — недружелюбно покосился еще раз на чубатого. Тот лениво курил и сплевывал в сторону. Когда стали заходить, задержался на пороге. Хотел бросить папироску, передумал да так и вошел.

Пожилой мужик сел на лавку возле стола. Чубатый лениво потянулся и тоже сел. Не сел только тот, в спецовке. Он вынул из нагрудного кармана четверо сложенную бумагу. Неторопливо, с торжественностью на ху-

дом белобрысом лице развернул. Протянул хозяину, загадочно улыбаясь.

— Кого я там разберу, — заволновался Гаврилыч, — читай сам.

Тот аккуратно снял очки, потер переносицу и поглядел на старика серыми близорукими глазами.

— А что тут читать? Разве еще не догадались?

— Нет... — вильнул голосом Гаврилыч.

— Ну, тогда объясню. Ордер это. На днях мы сдали новый дом. Вот и выделили вам новую квартиру. А так как вы одинокий, мы, значит, вот я, как мастер, и ребята — наши рабочие, приехали вам помочь переехать на новое жительство. Вещичек у вас... — мастер окинул комнату взглядом, — не много. Одним рейсом все заберем. Гриша, выгляни, машина не пришла?

Чубатый нехотя поднялся, бросил окурок к печке, вышел.

— Ну, что ж, Игнат Гаврилыч, — мастер сунул руку в боковой карман спецовки. — Как говорится, от всей души... А это, — рывком вынул руку, поднял над головой: в руке матово светлел ключ, — от новой квартиры, символ, так сказать!

В дверях нарисовался Гришка, прислонился к косяку: — Шофер там шумит. Говорит, долго собираетесь.

— Подождет, — значительно сказал мастер, не опуская руки. — Ну, Игнат Гаврилович, — улыбнулся лукаво. — По старому обычаю за такую весть магарыч полагаются! А, мужики, как? Иван Иванович, что молчишь?

Пожилый рабочий пожал плечами. На ключ он не глядел. Зато Гришка у порога оживился, глотнул слюну:

— Это уж как закон! — и поласкал глазами пустой стакан на столе.

— Игнат Гаврилович, что ж ничего не скажете? — мастер улыбнулся поощрительно.

— Это он от радости онемел, — усмехнулся Гришка.

— Никуда я отсюда не поеду, — выдавил Гаврилыч, садясь на кровать.

— Как? — затушеввал мастер улыбку, насупился удивленно.

— А так, не поеду и все.

— Это как-то даже... странно... — поглядел деревянно на руку, держащую на отлете матовый ключ, опустил в задумчивости. — Человеку дают квартиру...

— Че мне квартира. У меня своя есть. Стар я, чтобы шалаться с места на место. — Гаврилыч сидел на кровати, уткнувшись бородой в грудь. — Директор давно уж про квартиру толковал, а я не желаю. Дай-ка мне, парень, шобуришко-то, — ткнул заскоружлым пальцем в направлении порога.

— Хохма! — оживился Гришка. Поднял шубейку, протянул Гаврилычу. — Держи, дед!

Гаврилыч лег на кровать, укрылся и с интересом стал глядеть, как мотаются на потолке растревоженные свежим воздухом паутинки.

Володя развел руками, вздохнул:

— Что ты с ним будешь делать?..

— Вытаскивайте меня из родной избы. Мужики вы здоровые, со стариком сладите, — прикрыл рукавом глаза, всхлипнул.

— У него сын в городе. Начальником на заводе, — обронил Иван Иванович, ни к кому не обращаясь.

— Тем более, — холодно сверкнул стеклышками мастер, — отец уважаемого человека, а поступает так неосознанно. Кем он там?

— Главным технологом, — неохотно ответил старик.

— Квартиру наверно, имеет приличную, а? — спрашивал Володя.

— Само собой...

— В город не зовет?

— Чего он, не сын, что ли? Разов уж пять приезжал на легковушке, улещивал все.

— Ну, а вы?

— По мне здесь лучше. Гостил я у сына-то. Как старуха померла, он и увез меня к себе. С месяц жил... да, видать, не по мне город-то.

— Чудной вы человек, Игнат Гаврилович, — Володя усмехнулся задумчиво.

— Пошто? — поднял голову старик.

— Так. В город не хотите, в новую квартиру не хотите... — побарабанил тонкими пальцами по краю табуретки. — А я в город только через два года... нет, вру, через год и семь месяцев вырвусь.

— Езжай, кто тебя держит, — сухо отозвался старик.

— Езжай... — снисходительно усмехнулся Володя. — А кто за меня отрабатывать будет?

— Вербованный, че ли? — поинтересовался старик.
— Не-е, после техникума.
— А... — неопределенно вздохнул старик.
— А вот брат у меня так остался. На три года раньше меня кончил. — Володя будто радовался, что может оправдаться поступком брата.

— Всяко бывает, — зашевелился на лавке Иван Иванович, — на одной грядке рядышком растет сладкая морковка и горький лук. Из одной земли соки сосут, а продукты разные.

— Ты это к чему про грядку-то? — покосился Володя.

— Так, для разговору, — замылся Иван Иванович.

— Ты, мастер, на него не обижайся. Знаешь, ведь он так: молчит, молчит, да и выдаст хохму. — Гришку явно веселила необычность положения.

— Ладно, — поднялся Володя, — смех смехом, а дело стоит. Грузиться надо, Игнат Гаврилович, машина ждет, да и ребятам без дела скучно.

— А ты отпусти ребят-то, чего их держать, — резонно заметил Гаврилыч.

— Ничего, дед, мы и посидим, — подмигнул Гришка. — Не на сдельной. — Мастер сверкнул в его сторону очками, но ничего не сказал и обернулся к Ивану Ивановичу:

— Иван Иванович, ну вот ты человек с опытом. Объясни товарищу, может, хоть тебя поймет. — Отошел к окну, за которым уже шумели сбежавшиеся ребяташки и судачили собравшиеся кучкой старики.

— Какой с меня агитатор?

— Фу, черт, ну, вот если бы тебе предложили переехать в новый дом, поехал бы ты или нет? Скажи!

— А то бы не поехал! Дома эти строю вот, а вроде сапожника — без сапог. В следующем доме обещают.

— Ну, слышали? — поспешно сказал Володя. — Человек бы рад переехать...

— Вот и отдайте ему тую квартиру, — спокойно сказал Гаврилыч.

— Она ему как пятак на богатство. Ему на шестерых нужно, а тут — однокомнатная. Да и вас куда девать?

— А меня куда девать не надо. Я в своей избе живу.

— Развалить ее приказали. Мешает она планировке. По генплану...

— Пошто завалить? Это как так? — старик поднялся с кровати.

— А так: канат накинем на матку, дернем бульдозером, и привет вашему, извиняюсь, курятнику. Потом место спланируем. — Володя провел ладонью по воздуху. — Такой здесь дом отгрохаем!

— И чего вам моя изба поперек горла встала, — повлажнили глаза старика. — Лучше бы его развалюху рушили, — показал кривым пальцем на Ивана Ивановича. — Пусть бы с пацанами новоселье справлял. А мне и так ладно. Поди, скоро другое новоселье справлю, последнее.

— Завалим, когда время подойдет. А пока речь о вашем доме идет. Детский садик тут строить будем. Место удобное: лес, речка, поляна. Хорошо ребяташкам будет.

— А меня скovyрнуть?

— Вас переселим в новую квартиру, — хрипло сказал Володя и, удерживаясь от грубости, прикусил губу.

— Зря, дед, не соглашаешься, — лениво потягиваясь, сказал Гришка. — Квартирка в самом центре. Ресторанчик рядышком открыли. Еще не забегал?

— Жирны они мне, харчи-то ресторанные.

— А ты, дед, не по харчи, по стопочку забегай, — зеленые Гришкины глаза повеселели. — Воспримешь парочку и домой, радиопередачку слушать. А хочешь — вечерок посидишь. Раз посидишь — до следующей пенсии помнить будешь.

— Было время, пивал и я, а теперь и с квасу хмелею.

— Брось приbedняться, дед, небось, и самогонку гонишь? — Гришка подошел к столу, взял стакан двумя пальцами. Нюхнув, покривился, подмигнул мужикам.

— Кончай, надоело! — прикрикнул мастер.

— А чего я такого? — поднял Гришка нахальные глаза.

— Не канючь. Перевезем человека, я тебе сам поставлю.

— Слышал, Иван Иванович? — Гришка выбросил указательный палец пистолетом. — Свидетелем будешь.

— Володя, — тоненько воззвал Гаврилыч. — Может,

оставишь мой домишко-то? Неуж нельзя какой другой скovyрнуть? А я бы уж, — торопливо хихикнул... — Огурчики малосольные свои, не купленные, а с огурчиком она соколом летит.

— Дает дед! — восхитился Гришка. — К нему с приказом, а он с огурчиком...

— Что вы, Игнат Гаврилович, — замахал руками Володя. — Какая еще водка. А ты, Гришка, погоди... Твой треп человека с толку сбивает. — И снова старику: — Мы бы с радостью, — приложил руку к сердцу. — Черт с ним, с вашим домом. Стой он, пока трухой не рассылется. Да ведь нельзя. Никак нельзя. Теперь стоят не так, как раньше. Теперь не стихийно застройка идет. Архитектор решает, где что строить. У него план всего районного центра на бумаге. Над планом умные люди думали. Вот и решили именно здесь садик строить. Самое выгодное место. Как не поймете...

— Все понимаю, сынок, да и вы меня, старика, поймите. Ведь каждая плаха здесь родная.

— Все это понятно, — мастер снял запотевшие очки, стал протирать стекла воротником белой рубашки. — А что поделаешь. Теперь много старых домов сносятся. Люди в новые переезжают.

— Не привыкну я там.

— Привыкнете. К плохому трудно привыкать, а к хорошему чего не привыкнуть. Комната светлая. — Володя подошел к лавке, громыхнул пустым ковшом по ведру. — Воды-то нет? Видите, на речку надо идти. А там краник повернул — и потекла водичка. Хочешь — холодная, хочешь — горячая. Культура. И дров заготавливать не надо — паровое отопление. Ванная есть.

Старик сидел на кровати, мял руками овчину и о чем-то сосредоточенно думал.

— А пар есть? — вдруг спросил Гаврилыч.

— Какой пар? — не понял мастер.

— Какой пар бывает...

— А-а, такого нету. Да там рядом баня с парной.

Пятнадцать копеек все удовольствие.

— Любишь, дед, париться? — спросил Гришка.

— Старые кости любят.

— Оно и видно, нас уж запарил.

Володя незаметно показал Гришке кулак.

Старик, кряхтя слез с кровати, подошел к окну и

стал смотреть на полированный нож бульдозера, возле которого прыгали ребятишки. Занавеску небрежно смел в сторону.

— Решайтесь скорее. Время у нас рабочее.

— Ты не торопи меня, быстрый какой.

— Как же не торопить, — умоляюще прижал руку к груди Володя, — дом надо развалить. Мусор увезти, разровнять место. Там кирпич завозить, нулевой цикл готовить. Ну, берите ключ, что ли...

Старик нерешительно переминался с ноги на ногу. Тогда Володя взял руку Гаврилыча, разжал слабые пальцы и вложил ключ ему в руку.

Гаврилыч поднес ключ к глазам. Ключ был светлый и теплый от рук мастера.

— От кого мне замыкаться? — горько усмехнулся в бороду старик.

— Это уж ваше дело, — неторопливо перебил Володя. — Хотите — замыкайтесь, хотите — не замыкайтесь.

Гаврилыч хотел было попенять ему за грубость, но вместо слов к горлу подкатилось что-то тяжелое и горячее. Слез посторонним людям показывать не хотелось. Старик бестолково потоптался и пошел из избы. В дверях задержался. Увидел вылезший гвоздь из петли. Подумал забить, да вспомнил, что не надо.

Возле крыльца Гришка открывал задний борт грузовика. Что-то у него не получалось, и он вполголоса ругался.

Гаврилыч пошел в огород, сел на скамеечку, среди грядок, заросших дикой травой. Огород он давно не садил. Сил не было. Однако прошлогодние семена взошли сами собой и кое-где зеленели стрелы лука вперемешку с польнью. «Вот она какая, земля-то», — с благодарностью подумал старик. Сорвал перышко лука и пожевал. Во рту стало горько.

А в это время Гришка и Иван Иванович умещали в кузове пожитки деда: кровать, табуретку, кривоногий стол и сундук с оторванной крышкой. Грузовик, будто прощаясь с домом, гулко каркнул сигналом и поехал.

— Теперь валить давайте. — Володя стал уверенным и официальным.

— А может, разберем? — нерешительно сказал Иван Иванович. — Валить неприкладно как-то...

— Зачем? — поднял брови Володя. — Были бы

бревна или доски хорошие, а то одна труха, да и времени нет.

— Окна, гляди, аж в землю вросли, — сказал Гришка и легонько постучал носком сапога по стеклу, но не разбил.

— Дом — он как человек. Сначала вверх растет, потом вниз, — заметил Иван Иванович.

— Хватит трепаться, лезь на крышу, — скомандовал Володя.

— Оно как-то... — вздохнул Иван Иванович.

— Что как-то? — резко спросил мастер.

— Душа не лежит.

— Почему? — Володя не мог понять неожиданной сентиментальности бульдозериста.

— Люди жили, детишек рожали...

— Так что, молиться теперь на избу? Мало где ребят рожали. Построим детский сад. Твои же пацаны ходить сюда будут.

— Так-то оно так...

Мастер сплюнул и отвернулся:

— Григорий, бери трос, лезь на крышу!

Гришка почесал затылок, опасливо поглядел наверх:

— Не загреметь бы, прогнило, небось, все.

— А ты поосторожнее. Зацепи трос за матку и слазь.

Гришка поднял конец троса с петлей на конце, пошел к сенкам, где была лестница. Поплевал на руки. Пробуя ногой каждую перекладину, стал взбираться. На крышу сеней ступил как на тонкий, гнущийся лед.

— Держит? — спросил с земли Володя.

— Да вроде. — Гришка потянул трос, врезавшийся в доски крыши, и пошел к чердаку.

Темная, потрескавшаяся матка высывалась наружу. Гришка наклонился, рассматривая.

— Цепляй, чего стоишь? — подгонял мастер суетливо.

Гришка обвинил матку тросом:

— Будто петлю на шею накинуд, — сказал негромко и хрипло рассмеялся.

— Что ты говоришь? — не расслышал Володя.

— Иди-ка ты... — хмуро прошептал Гришка, зацепляя трос, чтобы не соскользнул.

Спустился с крыши не спеша. Стал закуривать. Спички ломались.

— Давай! — крикнул мастер Ивану Ивановичу. Тот неспешно залез в кабину, взревел двигатель. Мастер и Гришка отошли подальше.

— Тяни помалу! — Володя ладонью подавал знак, глядя на избу. Бульдозер чуть попятился. Трос натянулся.

— Теперь рывок! — мастер резко взмахнул рукой. Трос натянулся струной, зазвенел. Машина резко дернулась назад и пошла, пошла...

Изда медленно покосилась. Со звоном вылетели рамы. Крыша с треском рухнула на стены, которые наклонились и упали, подняв облака густой пыли.

Бульдозер прошел еще немного, волоча по земле обломок матки и, стихнув, остановился. Из кабины вылез потный Иван Иванович.

— А ты боялась, дурочка! — весело хлопнул его по плечу Володя. — Чисто сработал. Раскатал до бревнышка. Ну, ладно, ты, Иван Иванович, здесь оставайся. Все обломки в кучу сгреби, место спланируй. А мы с Гришкой деда доставим, — оглянувшись, ища глазами Гаврилыча.

— Я видел, он в огород уходил, — вспомнил Гришка.

— Позови.

Гришка ушел и тотчас прибежал назад, растерянный.

— Слышь, Володя, дед-то вроде того...

— Как... того? — тревожно сверкнул очками Володя.

— Вроде концы отдал.

Володя оттолкнул Гришку и бросился в огород. Вслед затопал Гришка. Побежал и бульдозерист.

Гаврилыч лежал в пыльной траве. Лежал на боку, неловко подвернув руку. Из маленького кулака торчал поблескивающий ключ.

Иван Иванович быстро присел, перевернул старика на спину. Расстегнул рубаху на груди, приник ухом.

— Живой, — облегченно сказал он, поднимаясь.

— Че с ним? — спросил Гришка.

— Сердце, видно, зашлось.

— Скажи, как переживает, — прошептал Гришка, — а дом — ни одной живой доски.

Иван Иванович вновь склонился и стал осторожно растирать седые виски старика.

— Что-то не так, ребята, а? — сказал Володя.

— Воды бы принести, — хмуро бросил Иван Ивано-

вич, поднимая легкое тело старика. — Помогите, чего стоять-то. На тую вон скамеечку надо его... А ты, Гришка, чего? Давай за докторшей.

— Может, он сам оклемается? — неуверенно возразил Гришка.

— Давай, давай! — уже зло крикнул Иван Иванович.

Высохшее тело Гаврилыча лежало на его руках грузом нетяжелым, но почему-то очень неудобным.



СОЛНЦЕВОРОТ

I

Когда заледенелые окна горницы тронулись синим утренним светом, отец вышел за дровами и вернулся озабоченным. Стараясь не греметь, сложил поленья возле печки. Обмахнул рукавицей катанки от мохнатого, выпавшего в ночное безветрие снега. Сел к столу, сворачивая самокрутку, выжидаяще повернув худое бровастое лицо в сумрачный угол горницы. Там спали трое дочерей и Егорка, пятнадцатилетний пацан.

Дочери спали на широкой деревянной кровати, сделанной отцом в давние времена. Егорке же, как второму после отца мужчине в доме, полагалась отдельная кровать. Было прохладно. И сестры и Егорка спали, укрывшись с головой в стеганые одеяла.

— Егорка... — тихо позвал отец, затягиваясь едким дымом.

— Не тревожь ты его... — заворчала мать, заталкивая в печь еловое полено, на котором поблескивали капли оттаявшей смолы. — Пусть парнишка отоспится. Воскресенье же...

— То-то и оно, что воскресенье. Егор, дьявол, кому отец говорит? Живо подымайся, разнежился, как баба! Сын, выпростав ноги из-под одеяла, ступил на холодный пол, поежился и вскочил с кровати.

— Ну чего, батя? — спросил, зевая и потирая глаза.

Был он невысок, но строен, как тополек. Лицом художав и броваст в отца.

— Я давеча за дровами выходил, — начал отец, значительно помолчав. — И на меня сомнение нашло...

— Тьфу! — сплюнула мать, гремя кастрюлей, — век прожил, а ума как у Аленки. От твоих сомнений скоро ноги протянем.

— Не влипай, мать, когда мужики говорят, — глянул на нее отец пронзительно. От этого взгляда, бывало, браконьеры теряли ясность в голове и становились на все согласными. Безропотно отдавали в цепкие руки Корчного дробовик и незаконно битую дичь и упрашивали униженно не писать протокола.

— Так вот, я во двор выходил, — продолжал отец, не обращая внимания на насмешливо отвернувшуюся мать, — и заметил, как над Лисьим Бродом воронье кружит. Мне это не понравилось. К тому же воскресенье... Ну... понял?

— Понял, — напряжился Егорка. — Сходить бы надо.

— Возьмешь мои лыжи. Снег нынче глубокий, топкий... Солнцеворот. Солнышко на лето, зима на мороз поворачивают. То мороз, то теплынь. Ружьишко свое прихвати. Чего набычился? Не надувай губы. Мое не трожь. Не на медведя собираешься. Отец твой до тридцати лет с берданой ходил — и ничего. Добывал зверя. В общем, — понизил голос, — погляди, кто там шалит. Сам на рога не лезь, в случае чего. Понаблюдай осторожно и — сюда. Мать, положи парню еды в мешок! Да не ной, мужика я ращу или кого?

II

Дом егеря, как большой, потемневший от старости гриб, приютился на пригорке среди березняка, прозрачного в зимнем обличье. Внизу, за перемерзшей речкой лежал лес синей неоглядностью. Там, километрах в трех, и есть Лисий Брод, местность, богатая всяким зверем, которого манят мшистые перелески, подземные родники, теплые даже в лютые морозы. Браконьеры обходили эти места стороной из-за близости егерского поста.

Отцовские лыжи шли ходко. Не утопали в пороше. Снег будто выскальзывал из-под лыж мягко и бесшумно.

но. Потому что обиты были снизу оленьей шкурой, легкой и блестящей, будто полированной. Егорка съезжал с горы наискосок, выбирая пологости. Опасался налететь на опущенную снегом коряжину или толстую ветку. Отец за лыжи не простит: он всю душу вложил в эти лыжи.

Под пригорком сразу начинался лес. Без кустарников и березовых вкраплений. Сосновый. Сумрачной стеной уходил вдаль.

Чтобы осмотреться, Егорка присел возле запорошенного, колючего куста боярышника. Отец всегда так вживался в невидимую и неслышимую сначала лесную жизнь. Егорка сдернул шапку, затаился, прислушался.

Тихо. Чуть покачиваются почерневшие, сморщенные ягоды на ветке. Улетели птицы, завидев человека. Замерли сосны, будто прислушиваются к тишине. Ветви тяжело отвисли, придавлены снегом.

Зимой — молчаливый лес, зверю и птице кормиться трудно. Осторожны они становятся. Лишний раз не пропищат, не крикнут, чтобы внимание к себе не привлечь. Даже собственные следы путать надо, чтобы сильный хищник не догнал. Да и только ли хищник? Егорка понимал лесную затаенность перед человеком и оправдывал ее. «Не будь у зверя осторожности, давно бы лес пустым был», — по-взрослому подумал он, поднимаясь.

Мальчишка катил бесшумно, как тень. По полированным закруглениям лыж прыгали осколки разбитого кронами солнца. Яркие и холодные, словно весенние полуденные сосульки.

Заячьих следов было много, но он пропускал их без внимания, хотя неплохо было бы принести зайчишку. Не трогали его и места мышковавших лис, а надо было бы добыть лису. На воротник к новому пальтишку Аленки. «В другой раз», — думал Егорка.

Он напряженно глядел по сторонам. И лишь возле самого Лисьего Брода, у незамерзшего родника, пробивающегося сквозь мокрый снег, приметил размашистые следы лося, уходившие в глубь леса.

Присел на корточки, потрогал пальцами край следа. След был свежий, сегодняшний. Поднял голову. Чуть дальше лежала елочка, сбита одним ударом.

— Торопился лось, — думал Егорка, — дороги не разбирает. — И вдруг увидел бурые вкрапины в снегу.

«Зверь-то раненый», — понял мальчишка. И вдруг ему стало страшно. Скинул с плеча тяжелую бердану и холод ствола ощутил сквозь варежку. Огляделся.

Лес стоял тихий и сосредоточенный. Ни один звук не нарушал его покоя. В такую погоду даже выстрел издали не услышишь. Мягкий снег глушит его, ослабляет звук. Резко чернели стволы деревьев. Вывороченные корни упавших сосен таили под собой мрак. Жутко было идти к ним.

«Может, вернуться домой? Отец же не велел лезть на рога... Скажу, дескать, видел следы раненого лося... Вместе с отцом пойдем... С ним не страшно»...

И хотел было повернуть уже назад, но вдруг представил отца, его ехидную улыбку. Тот сразу поймет, что испугался. Да и браконьер уйти может.

Осторожно вынул дробовой патрон из ствола, загнал заряд с волчьей картечью. Стало спокойнее. Тихонько пошел вперед, держа ружье в руках. Тяжелая бердана придавала уверенности, и Егорка прибавил шаг.

Бурых вкрапин пообочь следа становилось все больше, а следы зверя короче и нетверже. Лось даже ложился, но поднимался и бежал дальше. На лежках смятый снег подтаивал и был словно посыпан рыжей охрой.

«С полкилометра еще осилит», — подумал Егорка и едва успел завернуть, проскочив мимо бурелома на поляну перед молодым, непролазным ельником. На поляне уже ясно был виден свежий лыжный след.

Видать, стрелявший знал повадки зверя. Не обременил себя утомительной погоней, а оценил местность и залег неподалеку, ожидая, когда лось даст круг по лесу, придет к месту выстрела. Лыжный след Егорку насторожил, и он присел на корточки, оглядывая окрестность. Лес был густой, дальше начиналась непролазная чаща, куда всегда норовят забиться смертельно раненные звери. Лосиный след вел в чащу, а лыжный обходил ее стороной. Егорка тоже обошел чащу, вглядываясь в ее дебри. Там лось прилег. Но его спугнули, и он неровными прыжками ушел дальше.

И вдруг впереди, сквозь редяющий кустарник уловил Егорка движение. Он еще не мог различить, что это, а чувство опасности вошло в его плоть и заставило затаиться. В стороне, на небольшой поляне, темнело боль-

шое бурое пятно. Возле него на корточках сидел человек. И тотчас стало ясно, что бурое пятно и есть лось.

«Добил все-таки», — пульсировала мысль, и жарко стало. Но сразу пришло и другое: посмотреть надо, что за человек. Может, из совхоза кто. Таясь за деревьями, Егорка приближался к поляне. Человек сидел к нему спиной и свеживал зверя. Его ружье и лыжи стояли прислоненными к дереву. «От мужика до ружья метров семь», — определил Егорка, подбираясь поближе.

Внезапно он зацепил стволом хрупкую ветку и замер за деревом, снимая с плеча ружье. На всякий случай осторожно взвел затвор и порадовался, что в стволе волчья картечь. Стрелять он не собирался, но от отца слышал: наведываются в лес и такие, для которых мало разницы, кто перед ним: зверь или человек. Накроешь с поличным на крупном деле, разрядит в тебя ружье, не засомневается. Мужчина, услышав треск ветки, обернулся, прислушался. В руке у него светлел нож. Но кругом была глубокая тишина, и он, еще раз оглядевшись, принялся снова за лося.

«Незнакомый какой-то... — думал Егорка. — В совхозе и не видал такого. Может, откуда издали... Лицензий на отстрел лосей давно никому не давали... Домой надо, отец сам велел лишь посмотреть что и как и — назад. Осторожненько, по-за деревьями, на свой след и домой. Если хорошо бежать, за час можно обернуться. Отец собираться долго не будет».

Он хотел было повернуть назад, но глянул на ружье, прислоненное к дереву. Ружье как будто дразнилось. «А если... самому... подкрасться, схватить и... — от этой мысли застучало в висках. — Принести отцу отобранное ружье, небрежно подать: «На, батя, у браконьера забрал». Отец изумится, но виду не покажет, весело подмигнет он матери: «Ну, видишь, кого я вырастил? Мужика вырастил!» Мгновенье картина эта стояла перед глазами. Дух захватило у Егорки. «Была не была!» — решил Егорка.

Браконьер работал спокойно, изредка оглядываясь. «Надо подождать, пока оглянется, а потом бежать».

Мужчина поднялся на ноги, разминаясь, и снова присел. Егорка взял ружье наперевес и сначала медленно, потом все быстрее пошел вперед. «Лыжи-то бесшумные», — с уважением подумал об отце, сделавшем их.

Рот он широко открыл, чтобы не было слышно его прерывистого дыхания.

До ружья осталось не более метра, когда вдруг мужчина обернулся и вскочил на ноги. Но Егорка уже прикрыл его ружье спиной, а свое держал у пояса, стволом к охотнику. Тот замер с ножом в руке. От руки шел пар.

— Ты это чего? — хрипло сказал мужчина и подался вперед. Глаза его так и резали.

Егорка крепче прижал приклад к поясу. Тогда мужчина остановился, приглядываясь к мальчишке. Страх у него, видимо, прошел. Перед ним стоял всего лишь мальчишка, а показалось сначала — взрослый.

«Поглядел бы на меня сейчас батька», — волнуясь, подумал Егорка:

— Бросайте нож!

Тот бросил нож на лося. На его лице вдруг появилась неопределенная улыбка.

— Документы есть? Предъяви! — и смутился своей невежливости: взрослому человеку и — так. Но сразу оправдался: раз браконьер — нету уважения.

Мужчина улыбался и даже шутливо поднял руки:

— Ну, ладно, сдаюсь, твоя взяла. Чей ты, пацан?

— Егеря, Корчного, — ответил Егорка, не опуская ствола.

Тот остро, мимоходом глянул на мальчишку и полез в карман:

— Ну, раз сын егеря, то пожалуйста... — растерянно похлопал по карманам телогрейки. — Неужели забыл... Точно. Забыл.

— Придется ружье забрать, — хмуро сказал Егорка.

Светлые глаза мужчины как-то дурно потемнели, но он молчал, раздумывая.

— Слушай, парень, — наконец сказал с хрипотцой, что-то поборов в себе. — Я, конечно, мог бы отобрать у тебя ружье, да и по шее дать. Но я хочу по-доброму. — Он уже совсем успокоился и закуривал. — Ты ничего не видел, не слышал, и я тебя не видел. Ты уйдешь домой, а я в долгу не останусь. Идет?

— Нет; — сказал Егорка. — Не пойдет. Отец составит протокол и передаст куда надо. А потом разбираться.

— А ты крутой мужик, гляди, не перехлестни, — вкрадчиво говорил мужчина.

— Какой есть.

— Жалко. А то бы я тебе хорошее ружье подарил. — Охотник доверительно приблизился к Егорке. — Я с тобой хочу по-хорошему разойтись. Потому что знаю твоего отца Ивана Сергеевича.

Егорка поглядел на свое ружье, увидел потрескавшееся, стянутое проволокой ложе, облезший ствол и поднял глаза. Светлое брюхо лося темнело от крови.

— Не надо мне вашего ружья!

— Как хочешь, — недобро усмехнулся тот. — Только гляди — вытурят твоего Корчного из егерей.

— Почему? — изумился Егорка.

— Потому... Было дело — Корчной вот так же, — показал рукой на лося, — забил быка. Мясо съели шабашники. Может, не знаешь, а деньги твой папаша положил в карман. И об этом почти никто не знает. Почти! Уловил?

— Врете вы! — грубо крикнул Егорка.

— Ну, дело твое, — холодно сказал мужчина. — Можешь забрать мое ружье. Только завтра оно будет у меня. — Он резко отошел, поднял нож, вытер налесь о шерсть зверя и присел спиной к Егорке.

— Вы ответите за отца! — голос сорвался. Подхватил ружье браконьера на плечо. И, раскатывая изморозь, побежал в молодой ельник.

Отбежав метров пятьдесят, Егорка оглянулся. Мужик по-прежнему сидел на корточках перед тушей лося.

III

Домой вернулся к полудню. Идти было трудно: мешало второе ружье. Выбился из сил, пока взошел на гору.

— Ну, слава богу, сам воротился! — обрадованно глянул отец со ступенек крыльца, перепоясанный патронташем. — Я уж искать хотел. Мать воет... Постой... Никак у тебя два ружья... Где взял? Дай-ка мне... — остро глянул в хмурое лицо сына.

— Там, — вяло махнул Егорка в сторону леса. — У браконьера отобрал. Он лося брюхатую забил.

— Постой... постой... — шептал отец. — А ну, пошли в избу. Ружьишко, кажись, знакомое. Мать! — крикнул он, захлопывая за сыном дверь. — Поди-ка сюда! Гля-

ди! Ружье отнял! Какой из себя был браконьер? — резко повернулся к устало севшему на лавку сыну.

— Высокий такой.

— Точно. — Отец любовно вертел двустволку, гладил корявой рукой полировку, заглядывал в потускневший от выстрелов ствол. — Его ружьишко. На такие штуки у меня глаз приметный... Мать, — сказал глухо, — Ободкова ружьишко.

— Бог с тобой! — обомлела мать, всплеснув руками.

— Его, ничье больше. Заверни-ка в тряпку, отвезу ему завтра.

— Значит, было дело? — поднял голову Егорка.

— Какое дело? — насторожился отец.

— Что ты лося шабашникам забил! Значит, ты сам браконьер? — кричал Егорка, бросал тяжелые, царапающие рот слова.

— Опомнись, сынок, — запричитала мать. — На отца родного... Погляди на него, седой ведь... Весь на вас израсходовался...

Отец молча сидел на кровати, опустив бугристые руки. Никогда не пользовался ничьей защитой, а тут молчал. На седом виске билась синяя жилка.

— Не надо нам ворованного, ни мне, ни Аленке, никому!

— Вон! — вскочил отец. — Он задыхался. — Вон отсюда, и чтоб ноги твоей не было!

IV

Вечер наступал быстро, зима будто боялась, что полуденная оттепель задержится дольше положенного, стряхнет с веток рыхлый снег и оплавит сугробы. Тонкие стволы близких берез позолотились прощально, и крыльцо потемнело от талой воды.

Отец вышел на крыльцо в тапочках на босу ногу. Тоскливо оглядел свой большой, заснеженный двор, ветхие потемневшие постройки.

— Егор! — позвал негромко, увидев сына, привалившегося боком к оградному жерднику. — Егор!..

Сын молчал, и отец, потоптавшись по-стариковски, пошел к нему пожелтевшей, скользкой дорожкой, кряхтя и вздыхая. Егорка не двигался, сухими глазами гля-

дел на темневший внизу лес. Отец несмело положил ему руку на плечо.

— Ну, будет, будет... Не надрывай сердце. Жизнь-то длинная... Хватишь еще горького...

Егорка как окаменел.

— Может, я сердцем убил из-за того лося, — совсем тихо сказал Корчной, себе будто признавался.

— Не могу, батя, — тихо сказал сын. — Не могу.

— Эх, жизнь, жизнь... — вздохнул отец, опустив голову, не замечая, как коченеют костлявые ноги. Закатное солнце над его непокрытой головой хоть и устало противоборствовать зиме, упрямо поворачивало к лету.



ОДИН НА ОДИН

В ельнике, у Лисьей Пади, замерзал егерь Иван Сергеевич Корчной. Он лежал на примятом снегу, розоватом от уходящего солнца. Ноги его были придавлены темно-рыжей тушей медведя, еще растапливающей внутренним теплом своим облетающий с веток снег.

Понемногу к Ивану Сергеевичу возвращалось сознание. Дрогнули ресницы на потемневшем от боли и стужи бровастом лице. Глаза его, черные, не пронзительные, как в молодости, а потускневшие, долго и непонимающе глядели на линялое зимнее небо.

Было ему далеко за пятьдесят. Боль в эти годы невыносимей, чем в молодости, и тело устает сопротивляться повреждениям.

Он понимал опытным умом: зверь придавил его крепко. Если и удастся освободиться от многопудовой туши, все равно уж не ходок.

Какая-то жилка внутри оборвалась. Ноги тупо ныли. На лыжи теперь уж не встать, а по глубокому снегу далеко не уползти.

Иван Сергеевич скосил глаза к подножью кедра. Лыжи, прислоненные к стволу, были хорошо освещены, каждое волоконец золотисто высветливалось, и ворсинки обивки металлически поблескивали.

Егерь вздохнул и отвел глаза. «Стойте теперь. Хозяину вы без надобности. Найдет кто — добром помянет», — подумал Корчной про лыжи, и нехорошая зависть шевельнулась к их будущему владельцу.

Лыжи эти он сам делал. К ним старый охотник особое желание приложил. Долго и истово подбирал дерево. И все-то ему не по душе было. То древесина с сучком попадалась, на удар опасная, то линии слоев или цвет не вышли.

Однако нашел подходящее дерево. Оно показалось зрелым и надежным. Из него егерь и начал выстругивать лыжи. Вареным маслом их пропитывал после распарки. Сушил своим способом под утренним нежарким солнцем. А как формой и крепостью готовы стали, окамсил оленьей шкурой ворсом назад.

Летом начал делать лыжи и только глубокой осенью кончил. Подгадал как раз к первоснежью.

Зато лыжи вышли всем на любованье. Выгнутые по лебединому плавню. На ногах почти не чувствуются, до того легки. Оленьи ворсинки полые, трубчатые. Снег к ним не примерзает. Идешь в гору — шерсть топорщится, не дает лыжам назад скользить. А с горы гладко и ходко бегут, пружиня на неровностях. Было у них и особое качество, которое для охотника главнее всего, — неслышность скольжения.

На простых лыжах охотник в сильные морозы с трудом зверя берет. Звенят, шуршат лыжи на снегу. Далеко их слышно. Зверь и обегает охотника. А эти — бесшумны. К самому осторожному зайцу можно подойти на убойную близость.

Многие охотники из города, наезжавшие к егерю в субботу погонять лис и зайцев, зарились на лыжи. Деньги предлагали хорошие. Вечером соберутся, бывало, за столом у Корчного, выпьют и давай просить: продай да продай. Старались стакан егеря поплотнее налить, авось под пьяную руку кого и осчастливит. И если не продаст, то даст поохотиться.

Сергеевич пил много, но ума не терял и только усмехался неприступно.

Был среди них Эдик, маленький, быстроглазый человек. Вспыльчивый и хвастливый. Работал он на какой-то базе, где, как он говорил, все можно достать.

Однажды Эдик, распалившись, выложил из кармана

на стол все деньги, и даже мелочь вытряхнул вместе с табачными крошками.

— Не уйду, пока не уступишь, — сказал он с пьяным упрямством.

Егерь усмехнулся и разлил водку в стаканы.

— Не уламывай, я ведь не девка.

Эдик молча отстегнул дорогой охотничий нож в перламутровых ножнах и бросил на деньги.

Иван Сергеевич слегка побледнел, резко глянул на жену, застывшую возле стола со сковородкой в руках, и сказал трезвым голосом:

— Ну, вот что, парень, забери деньги назад. Не надрывай сердце. Ты молодой, у тебя много еще всякого добра будет. И ружья будут, и лыжи. А мне в них утешение на старость.

— Ладно, Эдик, — стали уговаривать охотники. — Кончай это дело. Давай лучше выпьем, — и совали ему в руку стакан. Боялись, что выйдет ссора и охота сорвется.

Эдик слабо отталкивал стакан. Он понял, что перегнул, и теперь думал, как выйти из неловкого положения. В конце концов решил притвориться совсем пьяным. Выпил водку из своего стакана, сел, положив голову на стол.

— Слышь, Эдька, — сказал егерь. — Ну, а ежели я бы продал тебе лыжи, что бы ты с ними делал? На работу бы ездил, что ли?

Эдик поднял голову.

— На стенку бы повесил, — сказал он, раскачиваясь на стуле. — Над кроватью. К ружью. Чтобы ан... ансамбль был.

— Лыжи-то на стенку? — удивился егерь. — Дурость какая-то. Ты уж лучше шкуру повесь медвежью. Заместо ковра будет.

Эдик, соображая что-то, поглядел на охотников. Те не смеялись и тоже задумались.

— А ведь идея, — крикнул Эдик. — Даешь шкуру?

— Какой ты быстрый... даешь... — покачал головой Корчной. — Шкура денег сто́ит...

— Сколько? — вскочил Эдик и полез рукой в карман, в котором денег не было, они лежали на столе рядом с колбасными шкурками.

— По стоимости. Тридцать рублей.

— Беру, — загорелись глаза у Эдика. Он поймал руку егеря и долго тряс ее.

— Будет суетиться, — отмахивался Корчной. — Раз сказал, значит договорились. Будет тебе шкура. Есть у меня на примете одна берлога. Мишка там подходящий. На днях наведаюсь.

Охотники раскрыли рты, не мигая уставились на егеря.

— Возьми меня, — попросил Эдик осторожно.

— Куда тебе, — оглядев тщедушную фигуру Эдика, засмеялся Корчной. — Еще заломает, отвечай потом. А не заломает, так промысел нарушишь. Я ведь не для забавы медвежатничаю. — Глаза затеплились, просветлел лицом. — За месячишко двух-трех возьму, вот и с деньгами...

— Нет, я серьезно, — наседали Эдик. — Возьми на медведя. Пусть цена та же. Мне хрен с ней, с ценой. Поглядеть охота, как все это.

— Отстань, не зуди, — хмурился егерь. Он не любил, когда его перебивали. — Ты для этого дела неподходящий. Мешать будешь...

— Не помешаю, Сергеич, с фотоаппаратом пойду. Засниму, как ты все будешь делать. Тебе же память останется.

— Карточки сделаешь? — быстро спросил Корчной.

— Сделаю, — преданно заглядывал в глаза Эдик. Сколько хочешь!

— Это другой оборот. Подумаю. Может, и возьму. Ты только того... лишнее белье захвати, — добродушно засмеялся егерь.

— За это дело надо выпить, — загалдели охотники.

Эдик кинулся к рюкзаку, вытащил бутылку заграничного коньяку, поставил на стол.

— Где достал? — спросил Иван Сергеевич, рассматривая цветастую этикетку.

— Понимать надо, — подмигнул Эдик с чувством превосходства.

— Ну и пронырливый же черт, — завидовали охотники.

Выпили. Зашумели. Заговорили. А что говорили, и не понять. Жена поманила Ивана Сергеевича на кухню. Он вышел из-за стола, покачиваясь.

— Ты бы продал лыжи-то, — зашептала она.

— Не лезь, мать, в эти дела, — оборвал муж, пытаясь уйти. Но она цепко ухватила за рукав:

— Об семье не думаешь, богач выискался. Неужто себе еще не сделаешь... Благо, деревьев полон лес... Продай, шут с ними.

— Нет, мать, — сказал тихо, со значеньем в голосе егерь. — Таких я больше не сделаю. Вот этим местом чую, — ткнул себя пальцем в грудь. — Я на них весь выложился... Как ты на Аленку...

И жена только вздохнула. Поглядела на мужа и вдруг поняла, что он и впрямь стар.

...Тихо кругом. На верхушку пихты села сорока. Пугливая птица, недоверчивая. Косит на лежащих в снегу человека и зверя блестящим быстрым глазом. Мостится на острие, готовая сорваться и улететь от малейшего движения вниз.

«Меня боится, — подумал тоскливо егерь, — а бояться уж нечего. Вот раньше — да. Не пожалел бы патрона для проверки верности глаза и рук. Большая сноровка нужна изловить сороку на мушку». Он хотел шевельнуться, чтобы спугнуть птицу, да передумал. «Пускай хоть одно живое существо будет поблизости. Эдька-то удрал, сукин сын, — подумал незлобно. — Не заблудился бы только. А то со страху упорет в другую сторону, пропадет». И стал припоминать, как это получилось. Сначала все шло по продуманному много лет назад и проверенному годами порядку. Не доходя берлоги, егерь сел отдохнуть. Запахавшийся Эдька повалился в снег и тяжело дышал.

Иван Сергеевич усмешливо поглядел на него:

— Сколько тебе лет?

— Тридцать, — выдохнул тот.

— А мне, почитай, шесть десятков скоро. А видишь, какой я крепкий. Супротив тебя. Почему? Потому что на приволье живу. Еда у меня природная, здоровая. Вы, городские, чуть какая хворь, разные таблетки да капли принимаете. А вот я такие травы знаю, получше ваших лекарств на ноги ставят. Настои варю из маральего корня, из золотого корня. Чай пью бадановый. Он усталость снимает. Да чего там говорить... Меня с городским мужиком равнять нечего. Ты вон пяток километров прошел и язык набок, а мне хоть бы что... Я здоровше. Дух во мне лесной, крепкий...

Эдик шумно втягивал открытым ртом иглистый, морозный воздух. Лицо было красным, ноздреватым, от него струился пар. Он ничего не сказал на слова егеря. Да и не ждал егерь ответа.

Он говорил это не столько для Эдика, сколько для себя. Настраивался на охоту. Припомнил последнего медведя, взятого полмесяца назад. Тогда ловко вышло. Возни со зверем не было долгой. «Видать, я еще не такой старый», — убеждал себя Иван Сергеевич, чувствуя в теле молодую легкость. Уверял себя, что и этого медведя завалит и других, спящих пока по берлогам, но которыми судьба загодя предопределила стать добычей егеря Корчного.

— Ну, ладно, — раздумчиво сказал егерь, поднимаясь со ствола поваленного дерева и отряхивая шубу от снега. — Пошли дальше, — кивнул Эдику. — Только не шуми, берлога близко. Готовь аппарат-то.

— Конечно, конечно, — засуетился Эдик, вытаскивая из-за пазухи аппарат. Он открыл кожух и поглядел на помутневший объектив. Маленький, в высокой шапке без ушей, коротком пальто с шалевым воротником и в егерских валенках, он странно выглядел в лесной глуши. Глаза его напряженно бегали по сторонам, подолгу задерживаясь на корнях вывороченных деревьев.

Егерь пошел первым, осторожно передвигая лыжи. Лес становился гуще, и приходилось обходить буреломы.

— Теперь близко, — шепнул Корчной, оборотаясь и приложив палец к губам.

Корчной остановился возле небольшого снежного возвышения на полянке. Из отдушины возле черного задранного вверх корневища упавшей ели слабо курился пар. Огляделся. Эдик стоял шагах в тридцати возле дерева, держа в руках ружье. Фотоаппарат болтался на груди нераскрытым. «Как бы в меня не стрельнул с перепугу», — мельком подумал Иван Сергеевич и тут же забыл про напарника.

Глубоко вздохнул, выпрямился на мгновение. И вдруг, взволновавшись и решившись разом, опустил длинную палку в податливый рыхлый снег рядом с отдушиной.

Препятствия палка не встретила, и Иван Сергеевич, немного подержав ее на весу, сильно пустил в пустоту, чтобы она заостренным железным наконечником кольнула спящего медведя.

Быстро отошел, сорвал с плеча ружье, прислушался. Под ногами глухо, как сквозь вату, заревел ужаленный зверь. Много раз слышал егеря медвежий рев, а все не мог привыкнуть. Почувствовал, как зашевелились волосы под шапкой. Рев становился громче. Медведь, видно, пытался избавиться от причинившего зло предмета, но не мог и стал, разъярившись, выбираться наружу.

Медвежья голова показалась мгновенно, обвалив снежную крышу. Иван Сергеевич не ожидал, что зверь так скоро выскочит. И, торопливо отпрыгнув в сторону, споткнулся о таившийся в снегу крученный корень. Падая, услышал хруст и резкую боль ниже колена.

Он ругнулся отчаянно, понимая гибельность своего положения. Судорожно рванулся на колени, оттягивая на взвод забытые снегом курки и надеясь уже только на охотничье везение.

Медведь сначала не замечал человека. Щурил глаза, отвыкшие от дневной яркости. Принюхивался к морозному воздуху и потревоженно рычал, раскачивая лобастую голову. Грязно-бурая слежавшаяся шерсть на впалых боках свисала клочьями. С желтых клыков тянулась слюна. Услышав щелчки, зверь напряжился. Шерсть на загривке поднялась.

Холод обжег сердце егеря. И когда зверь завис над ним, выстрелил тяжелым самодельным жаканом. Приклад отдал в плечо. Выстрел прогремел глухо. Деревья приняли звук мягкими ветвями и потушили его.

Медведь надрывисто ревел, царапая себе голову когтями. Охотник опытно понял: в пасть не попал, как целил, а повредил голову, и не опасно. Пуля вскользь прошла. И Иван Сергеевич ударил из другого ствола, после чего боль и тяжесть отняли сознание.

Все это егеря вспомнил неторопливо и равнодушно, думая о себе, как о постороннем человеке. Еще раньше в темном уголке души нет-нет, да и ворочалась мыслишка, что однажды подведет его судьба. Но в молодости не боялся сомнений. Уверенность и надежда на точный глаз, ловкие руки брали верх над сомнениями. Теперь же тело расслабло от прожитых годов, и предчувствие часто пугало охотника. Завалив медведя, облегченно вздыхал: «Не этот». Старался не думать, что однажды встретит и «своего» медведя. И вот встретил. Но страха почему-то нет. Наоборот, непонятное успокоение. Лежит

Иван Сергеевич на снегу, перебирает прожитое, как вещи в старом сундуке перед дальней дорогой...

Вчера вечером, уложив охотников спать на кухне, себе постелил в горнице, с расчетом на сына. Долго ворочался, ожидая, когда Егор вернется со смены. Но так и не дождался, заснул. Проснулся от прикосновения горячего плеча.

— Ты? — спросил отец.

Егор лег рядом. В темноте мигал красноватый огонек сигареты. Отец заворочался, закричал, показывая, что не спит. Но сын молча затягивался сигаретой, и тогда огонек слабо освещал его узкое, напряженно сосредоточенное лицо.

— Там на столе тебе оставили... в бутылке, — подал голос отец.

— Настроения нету.

— Что так, или на работе неладно?

— На работе нормально.

Отец глубоко вздохнул, повернул лицо к сыну:

— Дай-ка закурить... Сон не идет...

Егор, не вставая, нащупал у изголовья сигареты и спички. Нашел в темноте отцовскую руку, подал.

Тот долго чиркал спичками. Спички ломались, и отец вполголоса чертыхался. Наконец, прикурил, закашлялся.

— Батя... — негромко сказал Егор. — Ты завтра куда собираешься?

— Да так, с мужиками зайчишек погонять. Размяться надо, — небрежно сказал Иван Сергеевич. — А что?

— Да ничего. В патронташе у тебя одни жаканы. Заяц, видать, крупный пошел.

— Уж и патронташ вышарил, черт глазастый.

— Два патронташа-то. Напарника берешь?

— Эдька попросился. Тридцатку за шкуру дает и хочешь посмотреть, как все это... Пускай прогуляется, бельишко-то подмочит, — рассмеялся отец по-стариковски.

— Опять, значит, за свое?

— Последний разок схожу, сынок...

— Сколько этих последних разков было?

Отец отвернулся и долго молчал, мерцая сигаретой. Вздыхал и курил, глядя в темный потолок.

— За тебя же опасаюсь, — сказал Егор, — годы у тебя... Рискованно.

— Эх, милый... — усмехнулся горько отец. — Рискованно... Ежели жить без риска, то и жизнь такая не нужна.

— Риск бывает, который оправданный, а который и нет.

— Научились вы рассуждать... Грамотные стали... Мы так не рассуждали... Тебе хорошо. Утром поднялся — и к своему трактору. Занятие есть. А мне в кухне толочься или на печи сидеть?

— Ну зачем на печи... Можно найти занятие.

— Нету мне другого занятия, кроме леса.

Егор положил руку на плечо отца. Рука сына была горяча даже через рубаху. Отец хотел стряхнуть сыновью руку, но не стал: старость теплоту ценит.

— Ружьишко мое спрятал? — глухо спросил отец.

— Спрятал.

Отец уткнулся лицом в подушку.

— Для твоей же пользы, — Егор погладил жесткие отцовы волосы.

— Собачья жизнь, — всхлипнул отец.

— Тише, мать разбудишь.

— Эх, Егор, Егор, кого ты бережешь... Ружье спрятал, а я с ножом уйду. Потому как я охотник. Я в лесу себя человеком чувствую. Лесной я человек. Родился в лесу, вырос в лесу и помереть в лесу суждено. От судьбы не убережешься... Ладно... скажи, где ружьишко. В последний раз схожу. Прощусь с лесом-то, а то прихворну, и сходить не придется.

— Послезавтра вместе ходим. Я смену сдам, — сказал Егор.

— Ладно, — согласился отец. — А я пока берлогу разведу. Не сомневайся, трогать не буду.

— На сеновале ружье. Только смотри...

— Не, Егорушка, не трону...

...Похолодало. Сорока давно улетела по своим надобностям, и окружающее поскучнело. Лежит Иван Сергеевич, вспоминает прошлые годы. Ругал он раньше свою жизнь по всякому поводу. И никудашней она казалась, и беспросветной. А начал по годам перебирать — не такой уж плохой оказалась. Были радости, да не умел их замечать.

Промышлять зверя начал с детства. В тайгу вместе с братом Серегой ходил. Ружье одно на двоих было. По-

переменке охотились. Однажды лесничий захватил их в казенном владении. Братья с мужиком сладили. Винтовку отняли, разрядили и отдали пустую, чтоб не выстрелил от злости. Как-то приходят домой из лесу, а там — лесник. Сидит за столом. Чай с отцом пьет. Молчат оба. Поглядел лесник на братьев мельком:

— А что, Сергей, твои это парни-то? — спросил ровным голосом.

— Мои, а чего?

— Да, паря, да... — только и ответил тот.

После отец позвал сыновей: «Что натворили?»

Рассказали все чистосердечно. Улыбнулся. «Справными мужиками растете».

Воевал удачливо. Ни одна пуля не тронула. Сколько в разведку ходил, всегда с «языком» возвращался. Зверя умел выслеживать, а человека — проще. Полковник перед строем повесил ему солдатский орден на грудь.

— Откуда родом, Корчной?

— С Алтая, товарищ полковник!

Полковник еще что-то спрашивал. Корчной отвечал как положено. Был он молодой, крепкий. Гимнастерка сидела ладно. Полковнику понравился бравый вид солдата. Он растрогался и поцеловал Корчного.

Аленка ходить учится. Совсем беспомощная, падает отцу в колени. Нутро его заливается радостью и нежностью.

Вот ведь какая ненасытная жизнь. Вволю пожил, а кончать жизнь не хочется...

Солнце уже склонялось вниз, отсветив без передышку положенное. Скоро мороз навалится, запеленает теплом зыбким, обманчивым. Проторит памяти тропку в детство, осветлит глаза безмятежностью.

Небо над головой еще светлое. Бьются в ветвях живые нити солнца, плавленной медью поливая недавно выпавший снег. Щедро золотят алую мякоть коры на стволах лиственниц.

Корчной потянул ноздрями и ощутил тонкий запах коры. Мальчишкой колупал лиственничную серу и жевал ее, горьковатую и пахучую.

И вдруг ему захотелось потрогать рукой податливую мякоть коры, сколупнуть желтоватую живицу и ощутить ее горьковатый вкус.

Попробовал шевельнуться, ноги онемели от непо-

движного лежания. «Нет, уж, видно, не попробовать мне серы», — тоскливо подумалось.

Он обвел глазами все видимое пространство, и окружающее показалось торжественно-красивым. Все привычное, до боли знакомое с детства, было, оказывается, красивым. А ведь не замечал этого раньше. Шел в лес — сразу искал следы добычи. Увидев зверя, гнал, выскивая расстояние верного боя. Каждая клеточка мозга и тела жила предстоящей добычей. До красоты ли... Както жестоко высмеял городского интеллигентного мужчину, пропустившего выстрел. Заяц пробегал крупный, сильный. И тот залюбовался, забыл про ружье. Корчной выстрелил вдогонку, не целясь. Принес за уши окровавленного зверя. Бросил к ногам неудачливого охотника.

— Барышня ты, а не мужик. Тебе цветочки нюхать, а не с ружьем ходить. — И тот смущенно протирал очки и бормотал что-то несерьезное.

Теперь же егеря самого поразили сочность и мягкость красок, богатство оттенков, какие не способен написать ни один художник.

— Рано я того... кончаю... — сказал он, прислушиваясь к голосу. Голос был слабый и хриплый. — А Эдька-то, подлец, убежал, — ехидно скривил губы. — Уж медвежья шкура не нужна, свою бы унести целой. Взглянуть бы по следу, куда побег. Хоть и пустой человечешко, а жаль, если сгинет. Детишки у него. — Голос совсем чужой, будто и не его.

Поднял голову, глуша боль, увидел синие сугробы возле себя. Стал вглядываться в далекое дерево, чтобы увидеть Эдькину лыжню. Но там было сумрачно, и егерь опустил глаза. На привалившейся бурой медвежьей туше уже не таял снег. И вдруг ему мучительно захотелось не быть здесь. Дикая тоска по дому всколыхнула остывающую кровь. Дома сейчас, поди, лампа зажжена. Жена ожидающе глядит в окно. Аленка уроки не делает, ждет отца. Только Егор еще на смене. Не знает, что отец лежит с беспомощным телом, покорно глядя в холодеющее небо. Сжал зубы, приподнял спину на локтях. Боль спохватилась, опутала разум липкой, горячей пеленой. Но он терпел. Глядел на сгустевшее небо, на темные деревья и по ранней яркой звездности привычно определил: погода завтра будет хорошая.

И вдруг стало спокойнее. Подошел Егор, положил на

плечо теплую руку, и теплота разлилась по всему телу.

— Что ж ты, батя, не подождал меня? — спросил Егор.

— Так уж вышло, Егорушка, ты на меня зла не держи.

— Ладно, батя, ладно, чего уж там... — И стал гладить седую голову отца. Невесомо гладил, нежно. Будто мать в детстве, лицо которой Иван позабыл, помнил только прикосновение рук.

Просветлело в душе старого егеря.

— Ты, Егорушка, возьми мои лыжи... Таких ни у кого нет. Мне за них двустволку давали...

— Ладно, — отвечал Егор. — Возьму... — И все гладил голову отца, отчего у него морщины расправились и глаза высветлились безмятежностью.



ВОЛЧЬЯ КРОВЬ

I

Когда солнце, скатываясь к перелескам, обожгло верхушки берез, матерый поднял голову из лунки и прислушался. Это был крупный волк, красивый в своей силе и зрелости. Шея тугая. На бугристом костлявом загривке топорщилась жесткая голубоватая шерсть, металлически поблескивала на солнце, и от этого волк казался очень прочным, отлитым из упругой голубой стали.

Кончики рыжеватых ушей подрагивали на широколобой голове. Левое ухо было рассечено надвое, что придавало волчьей морде выражение суровости. Но глаза спокойно-мудры. Осенью тащил на спине полузадушенного ягненка для волчат. Из предосторожности к логову шел безлюдной обычно, болотистой низиной. Там в то раннее утро случайный охотник поджидал уток. Увидел пробегающего неподалеку волка — пальнул вдогонку.

Заряд подарил ягненку легкую смерть, избавил от мучений в молодых, неумелых зубах. Одна картечина ужалила и матерого. Рана быстро зажила, затянулась лысой черной кожей, и теперь, казалось, у него три уха. И каждое слушает и сообщает хозяину, что тво-

рится на этой снежной равнине, побитой ржавыми веснушками кустарников и островками берез, расстелившихся застывшим дымом.

Поднимал он голову умышленно медленно. Показывал своей неспешностью отдыхающей семье, что не встревожен ничем. Просто день кончается, пустой желудок льнет к хребту, заставляет думать о добыче. Все это поняли и глядели на матерого из снежных лунок со спокойным ожиданием.

А он — слушал. Долго слушал, внимательно. Окаменел весь. Плотно сомкнул челюсти и дыханье задержал. Всеми тремя ушами слушал, каждой шерстинкой.

Наступал особый вечерний час, когда одни звери и птицы готовились к ночлегу, другие — к охоте. Но все они пока притихли по норкам, ложкам и гнездам. Ждали, когда минует стык дня и ночи, и каждый займется своим делом. Только далекая сорока нарушала безмолвие этого часа: возмущенно стрекотала в безрезнике.

Волк сел и огляделся. Обшарил глазами ржавый кустарник, завязший в рыхлом снегу и уже распластавший по сугробам тонкие ломаные тени. Осмотрел каждый бугорок: не тронут ли чужими следами, пригляделся к далекому взгорку с забежавшими на него березами.

Там густое и теплое мартовское солнце барахталось в паутине голых ветвей, не могло выпутаться и медленно оседало вниз. Над солнцем и леском кружили несколько ворон. Видно, успели чем-то поживиться и созывали сородичей.

Матерый широко зевнул и потянулся на лапах, с хрустом разминая кости. И сразу зашевелилась вся семья. Поднялась волчица, стряхивая с округлого живота комочки талого снега. Вскочили из лунок чуть поодаль два перьярка и три молодых волка. Молодым надоело лежать во время дневки и они, скалясь в улыбке, лезли к матери, заигрывали. Небольшо хватали за шею, мусолили шерсть.

Волчица недовольно изворачивалась. Показывала белые, аккуратные клыки: у нее постоянно сосало в животе от голода.

Матерый строго глянул на перьярков, затеявших веселую возню, оттолкнул грудью льнувших к матери молодых. Фыркнул, прочищая нос для новых запахов, и,

широко раздвигая пальцы лап, пошел по рыхлому снегу, к березнику, над которым висели вороны.

Отойдя немного, пропустил вперед всю семью. Волчице положено идти впереди, она не подведет стаю: опытна, осторожна. Переяркам — материнский след то-рять, чтобы молодые не выбились из сил раньше време-ни. Матерому же — беречь стаю с хвоста.

Встречное солнце слепило. Матерый часто оборачи-вался, оглядывая почерневшие кусты, и даже тогда чув-ствовал кожей, как пылал березник, просвеченный гус-тым солнцем. Боковым зрением он видел четкие синие тени обочь следа, когда волчица брала в сторону, обходя занесенные снегом буераки, и на его морде появлялась недовольная гримаса.

Тени не отставали ни на шаг, и он хотел, чтобы солнце поскорее скатилось к подножьям деревьев, по-тухло, как головешка от охотничьего костра. Тогда их тени исчезнут. Они сами станут теньями, наступит их, волчье время.

Волчица шла не быстро. Она была уже тяжела, да и лапы увязали в глубоком, набухшем снегу. Бока ее потемнели от пота, шерсть слиплась. Из приоткрытой пасти рвались клочки пара. Но березник был уже сов-сем близко. Над ним по-прежнему кружили вороны и ныряли вниз, и волчица прибавила ходу. Молодые при-отстали, сбиваясь со следа, и отец их легонько подтал-кивал. Он не любил, когда семья растягивалась: так она более заметна.

По березнику проходила хорошо накатанная дорога. Ржаво поблескивала санной колеей, чернела комьями конского навоза. Посреди дороги, будто ветер ворошил лохмотья, копошились вороны, склевывая овес, просы-панный мужиками. Неподалеку на низком суку березы трещала сорока. Ее не подпускали к поживе.

Увидев волков, вороны перестали клевать. Замерли, выжидая: может, пришельцы обегут их стороной. Но те уже перемахнули через ноздреватый придорожный суг-роб и, принюхиваясь, — к ним напрямик. Вороны не-охотно взлетели. Покружили и стали моститься на вер-хушках берез, кося вниз тусклым глазом. На всякий случай убралась подальше и осторожная сорока.

Волки подобрали овес, покрутились — больше ниче-го нет и побежали по дороге мелкой рысью, принюхива-

ясь к конским котухам, к смерзшимся ошметьям силоса.

Хорошо бежать по гладкой дороге. Ноги сами несут. Не вязнут, не скользят. Эту дорогу матерый любил. По ней в трескучие морозы, когда на лесную добычу надеж-ды не было, бегал в деревню и всегда возвращался с поживой, не оставив следов. Если же недалеко отсюда свернуть в сторону, мелкоснежной бровкой легко до-браться до заболоченной низины. Там, в тальниковых кустарниках, часто кормятся и устраивают лежки лоси. Вечер нынче теплый. Снег размяк — неслышный. Слабый ветерок дует — как раз для охоты.

Повеселел матерый, хвост вытянул со спиной вро-вень. Добродушно поглядывал на переярков и молодых. А они играли на ходу. Весело скалясь, кидались друг на друга, хватали за горло. А что им не играть, не радо-ваться жизни, если наступает их время жить?

Волчица и та улыбается приоткрытой пастью. Учю-ла запах подтаявшей за день земли, взволновалась. Ско-ро ляжет она в старой своей норе у высокого речного берега. В страхе и радости станет ожидать нового по-томства.

Лето — время сытное, доброе. Поведет она головас-тых, неуклюжих волчат на ягодную поляну — животы укреплять, и не надо будет следы запутывать. Летом все равно: злой ли пробежал зверь, добрый ли — примя-тая трава расправится, всех покроет.

Солнце уже затухало под деревьями, когда матерый услышал впереди скрип полозьев, брэнчанье лошади-ных сбруй и тонкие людские голоса. Волчица резко оса-дила, так, что переярки смаху налетели на нее. Она от-прыгнула в сторону. Оглянулась на матерого, тяжело дыша.

Из-за поворота вывернулись и катились под уклон, навстречу волкам три подводы, косо высвеченные по-следними лучами солнца. Длинные, уродливые тени ло-шадей и сенных возов скакали по сугробам. От этого и лошади и подводы казались неправдоподобно огром-ными, страшными.

Волчица высоко задрала морду, втягивая ноздрями влажный воздух. Ветерок обогнал обоз, принес сладко-ватый запах лошадиного пота и прелого сена. Волк раз-глядывал нарастающие подводы. Возы невысоко горби-лись сеном. На головном и последнем болотными коч-

ками лежали мужики в шубах. Под руками — ничего, лишь вожжи.

Матерый не почувствовал опасности и решил поблизости переждать, пока проедет обоз. Он сошел с дороги, сел в снег под березой. Волчица устроилась рядом. Каждой мышцей напряжинилась. Уже не за себя боялась, за будущих волчат.

Переярки и молодые нерешительно топтались перед родителями, и волк показал им зубы. Те покорно спрятались за спинами старших. Сбились плотной кучей, исподлобья глядя на дорогу.

Головная лошадь вдруг захрапела, вразной забила копытами. Норовила вырваться из оглобеля, но сани катились под уклон, не давали остановиться.

Мужик встрепенулся на возу, вскочил на колени, разметав полы шубы. Что-то прокричал тонким, испуганным голосом другому мужику. Задний возница тоже вскочил, закричал, замахал руками. Теперь все лошади храпели и бороздили подковами накатанную дорогу, пытались остановиться.

Передний мужик горланил не уставая, отчаянно раскручивал над головой концы вожжей. Его лошадь, дико закатив глаза и дрожа всем крупом, лезла на грязный сугроб, застревая ногами в глубоком снегу. Но в это время другая налетела на ее воз, зарылась мордой в сено, заржала от боли и страха.

Передняя инстинктивно дернулась, сани подтолкнули ее, она боком вырвалась из сугроба и понесла вперед, кося белым глазом на сидящих в каменной неподвижности волков. Седок от рывка едва не свалился назад, под копыта следом бегущей лошади, но успел зацепиться за веревку и пластом лежал на возу, верещал пронзительно, как загнанный насмерть заяц.

Проносясь мимо волков, уставил на них молодое большеротое лицо, искореженное страхом. Свободной рукой раскручивал вожжи над головой. Ждал: вот-вот стая метнется наперерез его саням. И вон тот, пока еще неподвижный зверь с толстой шеей, прямо и просто глядящий на него, первым взлетит к горлу коня, хрястнет челюстями, и вся стая насядет на бьющуюся в судорогах лошадь, и неизвестно, что будет с ним самим.

Однако стая не шелохнулась, и на лице, на котором, казалось, остался один черный кричащий рот, мелькну-

ла надежда. Проскочив опасное место, он долго еще глядел назад. Вторая лошадь не отставала, норовила спрятать морду в сено переднего воза — так ей было спокойнее.

Когда проносились третьи сани, возница отчаянно свистнул, сорвал с головы шапку, пустил в волков. Молодые шарахнулись от летящего к ним предмета, напоминающего мертвую ворону, завязли в снегу. Обоз пролетел мимо, обдав волков снежной пылью из-под копыт, запахом прелого сена и лошадиного пота.

Человеческий крик еще долго дрожал над дорогой и потерялся за поворотом. Тогда матерый подошел к черневшей в снегу шапке, обнюхал ее издали. Переярки и молодые жадно нюхали, загривки их щетинились.

Солнце совсем потухло, и волки стали тенями. Осмелели и уже по-хозяйски трусили по дороге. Наступило их время жить. Зайцы, лисы, все крупные и мелкие звери в этом лесу и в этой степи теперь принадлежали волкам. Днем человек тут хозяин, ночью — они. У человека нет врага, кроме волка, у волка — кроме человека. Возле своротка они уступили дорогу грузовику, который, гремя пустыми флягами в кузове и мигая красным глазом, исчез за перелеском.

Стемнело, когда стая подошла к спуску в заболоченную низину. Волки сели под гребень снежного надува, глядели вниз. Там было сине, сумрачно. Заснеженный луг темнел расплывчатыми островками кустарников. Дальше луг переходил в пойму реки, и там все было растушевано мраком.

Матерый потянул носом воздух. Из низины дул сырой ветер, пустой, без запаха живого. И матерый не мигая глядел вниз, в синеву, ожидая, когда глаза привыкнут к местности и мраку и он увидит еле приметные лисьи стежки и глубокие следы лосей. Следы он скоро обнаружил и по ним понял, что лоси на ночь пришли из поймы и расположились где-то в кустарниках. Он искал их, закостенев на месте. Волчица тоже искала.

И вдруг ее уши дрогнули. Внизу, с краю кустарника прошуршала ветка. Глаза волков привыкли к темноте, до мельчайших подробностей запомнили расположение отдельных кустов, уши слушали тишину, и слабый звук не мог остаться незамеченным. Снова чуть дрогнули уши волчицы. Она подавала знак. Но волк уже и сам видел,

как неестественно склонилась одна из ветвей. Видимо, лось, ворочаясь, задел головой куст.

Волчица скосила глаза на матерого. Его взгляд разрешал. И она мягко двинулась вперед. Рыхлый снег был тих, скрадывал звук шагов: не скрипел, не хрустел, податливо оседал под тяжестью тела. Склон миновали быстро и потом долго еще шли гуськом по глубокому снегу луга, маскируясь за редкими кустами.

Когда впереди замаячили те самые кусты, волчица легла, наострила уши. Теперь сырой ветер нес запах влажной лосиной шерсти и помета. Глаза матерого стали колючие.

Дальше волки поползли, прячась за снежными неровностями, глубоко вмываясь в снег, ни на минуту не выпуская из поля зрения тальниковый кустарник.

Было уже недалеко, и матерый нарушил строй, лег рядом с волчицей, чувствуя прикосновение ее теплого бока. Лежали, слушая. Но кругом было тихо.

Он лизнул ее холодный нос и пополз, чтобы обойти кустарник с тыла и отрезать лосям путь отступления в пойму. За ним неслышно двинулись молодые. Потянулись было за отцом и переярки, но мать остановила их взглядом. И они покорно легли, положив острые морды на вытянутые лапы.

Волчица, прижав уши, неотрывно следила, как ползли матерый и молодые. Они были совсем неприметны. За ними тянулась синеватая бороздка, плавной дугой очерчивая кусты. И когда три серые тени замерли вдалеке, растворились, поползла и матерая, чувствуя за тылком теплое дыхание переярков.

Кусты наплывали, разрастались. Сильный лосиный дух щекотал ноздри, пьянил. Вдруг зашуршало в черноте кустов, и на фоне снега показался силуэт большой горбоносой головы. Бык оглядывался, шевеля ушами. На голове явственно виднелись бугорки коронок. Комольный бык, копыта — единственная защита. Лось настороженно поворачивал морду: чуял опасность.

Дальше скрываться было бесполезно: бык громко фыркал, почуяв волков, и матерая, пружиной вылетев из-за укрытия, на махах пошла к кустам. Но ее сразу же с боков обогнали переярки. Комья рыхлого снега летели из-под их лап. Сильные были звери, и мать, искося ревниво поглядывая на них, радовалась.

Кусты впереди затрещали: лоси поднялись. Теперь их хорошо было видно на светлом фоне снега. Бык, огромный, как скала, возбужденно фыркал, высоко подняв комоловую голову. Сзади к нему жалась лосиха и два лосенка.

Волчица видела, как лосиха с лосятами вдруг отделились и плавно, невесомо, словно на крыльях полетели в синий мрак поймы. Рваная тропа пролегла за ними. Лоси не пошли мимо тех кустов, где затаился матерый с молодыми, и теперь не догнать по глубокоснежью этих длинноногих зверей.

Но бык не уходил. Низко пригнув свою легкую голову, бил копытами снег, часто оглядывался назад, на тропу к пойме. Но, видно, не время еще уходить ему. Пусть семья подальше оторвется. И с готовностью шагнул навстречу волчице.

Она шарахнулась в сторону, едва не попав под копыта. И сразу же на быка с двух сторон надели переярки, отвлекали от матери. Лось бросился на переярков, и те тоже отскочили, почти сели на хвосты. И бык осмелел. Круто развернувшись и длинно взбрыкнув задними ногами, с треском ломая засыпанный снегом низкий кустарник, рванулся к тропе, по которой ушла его семья.

И — остановился как вкопанный. Наперерез ему шли матерый с молодыми. Лося взяли в кольцо, и кольцо сжималось. Волки подходили все ближе, ошестинясь, кружили вокруг быка, молодые и переярки косились на матерого, ожидая его знака.

Лось, огромный, черный, тоскливо оглядывался и шумно дышал носом, будто отгонял назойливых комаров. Матерый, прицелившись, ждал; когда лось повернулся к нему боком, прыгнул ему на шею. Но зверь секундой раньше шарахнулся от подбирившегося к нему боком переярка. Зубы матерого скользят по шее лося и, клацнув, он скатился под ноги быку, заранее вжимаясь в снег.

Бык налетел, ударил копытом, и затоптал бы, не повисни у него на шее два переярка. Один тут же сорвался под копыта хрипло взвизгнул, когда бык наступил на него, шарахаясь в кусты.

И тогда метнулась волчица.

Лось захрипел, пошатнулся, судорожно шагнул на чистое место и рухнул в снег, едва не придавив моло-

дых. Насевшая волчица и переярок рвали горло. Запах свежей крови дымно повис над кустами.

А рядышком лежал переярок на боку, почернив кровью снег. Лапы его подергивались, словно еще бежал. Мать обнюхала его морду и потянула за загривок, как в детстве. Но обмякший переярок не поднялся, не потянулся вместе с молодыми к добыче.

Волчица вернулась к туше, где молодые, упершись лапами, выдирали внутренности, она отхватила мягкий, дымный кусок, подтащила к самой морде переярка, но он не разжал челюстей. Она посмотрела в недоумении, как тот судорожно бьется в снегу, легла рядом, стала лизать его морду. Лизала, пока переярок не затих. Подошел, пошатываясь, матерый, лизнул переярка и сел рядом.

Молодые ели торопливо, давились и стонали. Родители подошли к ним. Но матерый только понюхал добычу и отошел. Есть он не мог. Его тошнило, в глазах расплывались огненные круги. Он полез в густоту кустов, потому что вытоптать лунку не было уже сил. Лег там на ломаные холодные прутья и сразу же синий мрак растворился.

А утром, когда на востоке ало набухала заря, тишина раскололась выстрелами. Волк открыл глаза и увидел, как в смертельном страхе выметаясь из лунок, молодые тут же, корчась, падали в снег и уже не поднимались. Переярок, ошестинившись и затравленно поджав хвост, крутился на месте, будто хотел втоптать в лунку поглубже, резко вздрогнул, выгнулся и зарылся мордой в снег.

Матерый и волчица лежали в кустах, отдельно от детей. Кусты еще хранили ночной сумрак, и их не было видно. Матерые не вскочили от первых выстрелов, затаились опытно.

И когда люди в белых накидках поднялись из укрытий и, громко переговариваясь, шли к добыче, матерые метнулись из кустов на лосиную тропу, на махах уходя в пойму.

Опережая их, с визгом легли заряды картечи, жужжа оводами. Волки не остановились, не свернули с тропы, лишь прижали уши. Серыми призраками широким махом скакали туда, где за горизонтом ворочалось солнце, где было красно и дымно.

К вечеру третьего дня, когда снег и небо стали одного цвета, ему удалось поймать зайца. Он держал добычу за перекушенную шею, ощущая во рту солоноватый вкус теплой крови. Впалые бока его пульсировали короткими тугими толчками, гнали сквозь неплотно сомкнутые зубы сизые струйки пара.

Он держал зайца на весу, хотя мягкая шерсть, набившаяся в пасть, мешала дышать, и смотрел, как по скрипучему насту голубоватой тенью катилась волчица.

Она подходила к нему медленно вытянув шею и пригнувшись. Нервно поводила носом, глядя на добычу сувившимися, льдисто мерцающими глазами.

Волк не двигался. Его покачивало от сумасшедшей гонки по сугробам, окончательно высосавшей силы. Тогда волчица показала белые, аккуратные клыки. Он уронил зайца в снег, побитый бурыми оспинками, и отошел.

Небо темнело, и снег темнел. Набрали силу морозные звезды, и наст засветился мелкими иглистыми искрами. Волк лежал на колючем снегу, слизывая с лап пристывшие капли заячьей крови. Он слушал сочный хруст раздробляемых костей, и у него с губ текла слюна, а в животе что-то дергалось и екало.

На волчицу поглядывал искоса и осторожно. Но иногда взгляд помимо воли затвердевал на истерзанном зайце. Тогда волчица переставала есть, поджимала верхнюю губу, обнажая аккуратные клыки, и он уводил глаза на стылые тонкоствольные березки, с показным вниманием рассматривая их черные ветки, вмороженные в хрусткую наснежь.

Когда с едой было покончено, волчица поскрипела мятым снегом, обнюхивая место, лениво зевнула и, облизываясь отошла к березкам, за которыми потрескивала черным льдом речка с рыжеватым тальником у берегов.

Волк поднялся покачиваясь: его тошнило. Горло перехватывали спазмы. Он крутил шеей, но голод не уходил. На глаза наволакивалась мутная пелена. На мятом снегу шевелились едва заметные в сумерках ключья заячьей шерсти. Ноги сами повели туда. Стал лизать ок-

ровавленный снег, но голод лишь усилился от резкого, дразнящего запаха. Легкий пух прилипал к носу и волк брезгливо очищал его о лапы.

Волчица неподвижно стояла под березками и смотрела за реку, где в синем сумраке, прорезанном столбами дыма, мерцали редкие огни домов... Матерый боком подошел, положил ей на шею свою отяжелевшую голову. Но та ласки не приняла, огрызнулась беззлобно, покрутилась на одном месте и легла в лунку, свернувшись в клубок. Зарылась носом в хвост, смежила веки и умиротворенно вздохнула.

Матерый постоял, обиженно глядя на подругу, потоптался и лег, ловя далекие звуки на той стороне. Но голод не давал лежать, гнал с места. Зудились подушечки лап, он скреб ими по твердому насту, унимая противный зуд.

Нюх обострился так, что учуял под сугробом слабый запах полевой мыши, и, пересилив отвращение, он стал судорожно разрывать когтями смерзшийся снег. Комья снега и серебристая пыль летели из-под мелькающих лап. Но запах мыши скоро исчез, и волк долго не мог успокоиться. Суетливо ворочал мордой, надеясь увидеть маленький теплый комочек или хотя бы услышать писк.

Потом он снова лег, положив на лапы острую, красивую морду. Не мигая глядел на растушеванные поздним сумраком куски домов и горбатые спины стогов возле них. Ждал, когда погаснут огни.

Их преследовали три дня, не давая ни отдохнуть, ни добыть пищи. Спасло резкое похолодание. Выпал пушистый снег, наст промерз, окреп. Лапы уже не проваливались. Морозный снег скрипел, не давал людям подойти на убойную близость к волкам, и они отстали, ушли в деревню.

Оставаться в той округе было опасно. Переждав морозы, люди могли снова появиться. Однако матерый далеко уходить не хотелось. Здесь недалеко их логово, здесь их кормовые угодья. Идти в чужие места — набросятся свои же собратья. И волк, дав несколько кругов, путая следы, привел волчицу к деревне. Здесь их меньше всего могли ждать.

Небо темнело и снег темнел. Исчезли сизые столбы в небе, растворились тени домов, лишь огни высветлились. Стали ярче и чище. В селе лениво лаяли собаки, скрипе-

ли полозья запоздалых саней. Потом долетел звонкий удар с противоположного берега.

Волк напрягся, готовый мгновенно сорваться со своей лежки. Волчица подняла голову, прислушалась. Потом еще долетели звонкие удары ведра, пробивающего дном лед в проруби, и волки, не почувяв опасности, успокоились.

Вскоре все стихло. Один за другим погасли огни, и село утонуло во мраке. Собаки лаяли реже, с подвывом, в никуда, словно тосковали по давно утерянной воле. Встреч с ними в селе матерый не желал: истощенный лай мог привлечь людей. Вот если бы подкараулить собаку в поле... Но собаки без хозяев не уходят от дома. Они не нуждаются в добыче. Хозяин прокормит.

Наконец волк стал подниматься, отрывая от снега примерзшую шерсть. Волчица глядела на него, и с лежки не вставала. Ей было тепло и сытно. Нос угрелся в заиндевавшем от дыхания хвосте. Она наслаждалась покоем и сытостью, которые в ее жизни случались не часто.

Но матерый нетерпеливо ходил вокруг нее, и волчица неохотно поднималась. Лениво потянулась и зевнула. Волк посмотрел на подругу, на спящее невидимое село и легкой рысцой пошел к реке, резко втягивая в ноздри колкий, бодрящий воздух.

Возле того берега была прорубь. Матерый осторожно подошел к ней, кривя нос от свежего запаха паленой шерсти: человек приходил в валенках. Волк всегда боялся человека, с самого рождения в нем уже был страх к этому не похожему ни на птиц, ни на зверей существу. Он был особой, непонятной породы. Он мог пахнуть овцой, собакой, лошадью. Обряжаясь в чужие запахи, человек был особенно страшен.

Волку и сейчас было страшно, но голод гнал к своему извечному врагу, где он мог получить либо пищу, либо жакан в бок. Дикого зверя матерый взять уже не рассчитывал: ослабел от болезни и голода. Он тронул передней лапой гибкий ледок, продавил, и на лед выступила черная вода.

Опустив морду, беззвучно втягивал губами ледяную воду, чувствуя, как ее холод ползет в брюхо. Голод немножко унялся. Матерый лег на еле заметную в темноте скользкую тропинку, ожидая волчицу. Та пила

долго, с передышками. Испуганно озираясь, роняла с губ тяжелые капли.

Село заснуло, лишь собаки не спали. Матерый прислушался и, оглянувшись на подругу, легонько потрусил на некрутой взгорок. Отлеживаясь на той стороне, скопил немного сил и берег их. Волчица хотела по привычке обогнать его, но он не дал и, лишь проступили очертания ближнего дома, загородил ей грудью дорогу.

Он хотел, чтобы она приотсталала, держалась ближе к стогам. Возле ограды крайнего дома они снова прилегли, зорко вглядываясь в окружающее. Слушали, как потрескивали от мороза бревна избы, тоскливо подвывала собака на другом конце села.

Волки внимательно изучали двор и подходы к нему. Во дворе, примыкая к глухой стене избы, проглядывался низкий бревенчатый хлев с бугром сена на крыше. Дверь избы была на противоположной стороне. Место для подхода удобное.

Подождав немного, матерый решил. Сделал несколько осторожных шагов к жердяной ограде и оглянулся. Волчица с опаской смотрела в черноту двора, но шла следом. Матерый остановил ее взглядом. Она легла и продолжала ползти, и тогда матерый показал ей зубы.

Чтобы попасть к хлеву, надо было миновать забор. Между жердинами можно было проползти на брюхе, но волк не рискнул лезть в щель. Неуверенно переставляя лапы, словно пробуя прочность собачьей тропы, подошел к ограде. Недоверчиво обнюхал корявый столбик, по бокам которого крепились заледеневшие жерди.

Столбик пах собаками, и волк помочился на него. На миг прислушался. В темноте больше доверял слуху, оглянулся на тревожно сжавшуюся подругу и легко прыгнул через жерди. Расстояние до хлева одолел широкими прыжками и замер на черном фоне стены. Волчицу он теперь не видел, но чувствовал, что она лежит за забором, следит за ним испуганными глазами. Ей нельзя рисковать, волчата не должны погибнуть, не родившись. Они, как и их родители, должны все испытать: и голод, и страх, и любовь, и боль.

Матерый пошел вдоль стены, обнюхивая бревна. В огород из хлева выходило маленькое окошечко. Под ним чернели комья стилого овечьего навоза. Он возбужденно обнюхал подножье стены, встал, упершись перед-

ними лапами в бревна, прижал нос к холодному стеклу. Стекло оказалось заледенелым. Тогда уперся лбом в перекладину и сильно надавил.

Рама заскрипела и с глухим звоном упала внутрь. Тотчас в ноздри ударил теплый, застоявшийся дух овчарни. И сразу услышал дробный перестук овечьих ног по полу, сдавленное блеянье, сбившихся в кучу животных.

Он на миг задохнулся от возбуждения, сердце зачастило. Положил передние лапы на подоконник и, судорожно царапая стену задними, карабкался в черный провал. Легкое тело послушно повиновалось, силы еще были.

Оставалось немного: рвануться сильнее, упасть в черноту, и все забудется: и голодные ночи, когда желудок примерзает к спине, и бешеные гонки за вертким зайцем. Он полоснет резцами первую подвернувшуюся овцу и, пьянея от горячей крови, будет метаться по хлеву и резать, резать. Но когда матерый уже перевалился грудью через узкий подоконник, что-то резкое, горячее впилося в его заднюю лапу, полоснуло острой болью и потянуло назад.

От неожиданности волк щелкнул зубами и дернул мордой, сильно поранив голову о торчащий из косяка гвоздь. Но боль от гвоздя была пустячной по сравнению с той, что в лапе. Невидимые челюсти до хруста сжимали ее и тянули вниз так, что резало грудь, трущуюся о подоконник. Извиваясь, матерый вывалился в колючий твердый снег.

И не успел волк встать на ноги, как его сбил грудью рослый черный кобель с коротко торчащими ушами и толстой шеей. Волк, лежа на спине, щелкал зубами и пытался встать, но пес не давал. Злобно лая, наседали, примеривался к горлу.

Волк понимал: долго ему так не продержаться. Пес откормлен, силен, а он тощ, измучен голодом. Только звериная молниеносность может спасти от сильного, но недостаточно ловкого врага, своим лаем призывающего людей на помощь.

Он остервенело дернулся навстречу собачьей морде, тот отшатнулся, и волк мгновенно вскочил и тут же поджал заднюю лапу — она нестерпимо ныла. Пес насккивал, пытался исправить оплошность, а матерый под-

ставлял зад. Выбирал миг, когда можно будет пружинно развернуться и полоснуть клыками собачий бок от лопатки до хвоста. Матерый был опытен в драке, не раз отбивал волчицу от наскоков сильных молодых волков.

Пес, привыкший к лобовой драке, стал нервничать и сплеховал: подставил-таки бок. Тогда круто развернувшись, матерый ударил собаку острыми, загнутыми назад клыками, но... помешала перекушенная лапа и густая шерсть собаки. Пес завизжал и, захлебываясь, снова бросился на волка. Смел он был и силен, и сбил волка. Истошно подвывая, пес вырывал клочья из волчьего бока, и матерый молча принимал удары. Силы его уже оставили.

Волк все чаще промахивался. Дышать мешала собачья шерсть, забившая горло. А пес наседавал сверху, подбираясь к шее... Матерый отчаялся: вскочил из последних сил и на трех лапах проволоков по снегу врага, вцепившегося в загривок. Пес, упершись передними лапами в волчий бок, не давал ему уйти, тряс мордой, захватывая в пасть все больший кусок загривка.

Матерый захрипел и перевернулся через голову. Кобель от неожиданности разжал зубы и отскочил. Уже обессиленный, истекающий кровью, волк успел полоснуть пса от лопатки к животу. Теперь он чувствовал, как трещала под резцами шкура собаки, которая тут же отчаянно взвизгнула и откатилась, хромая.

Вой поверженного врага придал ярости. Волк бросился на пса, и они покатались по снегу, задыхаясь и клацкая зубами.

В доме резко скрипнула дверь. Послышался торопливый топот по мерзлым доскам крыльца потом скрип снега. Матерый заметил силуэт бегущего к ним человека и попытался вырваться. Но у собаки при виде хозяина прибавилось решимости и сил. Хрипло, обессиленно лая, он не пускал волка.

Человек подскочил к клубку катающихся тел, сжимая в руках ружье. Тяжело дыша, рассматривал противников. Потом бросился к изгороди. Прислонив к столбу ружье, стал ломать жердь. Сорвал с гвоздя один конец, развернул жердь, со скрежетом освободил второй конец.

Человек не решался ударить, боясь зацепить свою собаку, и стал распихивать дерущихся концом жердины.

Отпихнув кобеля, он с изумлением смотрел на извивающегося и клацкающего зубами противника.

— Волк! — вдруг крикнул сорвавшимся голосом и ткнул жердью в мягкий бок. Пес в горячке кинулся снова, но хозяин сапогом пнул его и размахнулся.

Из дома бежали мальчишка и женщина.

— Ванька! — заорал человек с жердиной. — Волки!

— Где? — запальчиво откликнулся мальчишка и остановился, пугливо глядя в черноту поля за оградой.

— Одного добиваю. Наверно еще есть... Вон ружье возле заплота, пальни. — Он размахнулся и с придыхом опустил конец жерди. Но в голову не попал из-за торпливости, да и руки дрожали. Хрусткий удар пришелся поперек спины.

Тугая боль запеленала волка. Он дернулся от выстрела, напоследок увидел небо, черное, прорезанное пламенем. Выгнулся и затих, давая кровью, которая шла горлом, черня и растапливая снег. Но волк был еще жив. Слово издали слышался жалобный визг собаки, которую осматривали люди.

Мальчишка сбежал за фонарем. Тонкий, желтый луч уперся в черный, часто вздымающийся бок собаки. Волк был влажный, поблескивал густо и дымился под светом.

— Я сначала думал, с каким кобелем сцепился, — лихорадочно говорил мужик. — А глянул — на те, волк! Лежит, щерится, зараза. Ну, я ему и врезал... Ну-ка, мать, поддержи лапу, тут что-то под лопаткой...

— Кровь, — испуганно сказал мальчишка, отклоняясь.

— То-шно... Надо бы чем-то прижечь.

— Чем тут прижгешь? Зашивать надо. Ну-ка, Ванька, живо бинты! — мужик поднялся, разогнул спину, устало, горестно цокнул языком. — Ты смотри, всего кобеля порвал, за-ра-за... — Сверлящий луч фонаря перекинулся с собаки, скользнул по мокрому волчьему боку, по оскаленной морде. Глаза ответно вспыхнули зеленым. Женщина попятилась.

— Неужто еще живой? — удивился мужик. Не увидя света от волка, присел, свободной рукой шаря по снегу. — Глазищи еще горят. Живучий какой. Поддержи-ка, мать, фонарь...

Жгучий пучок света на миг перебила узкая тень поднимающейся жердины.



ГЛУХАРНАЯ НОЧЬ

Николай разбудил нас, хотя за окнами еще стелился по-деревенски глухой мрак.

— Вставайте, ребята, к перевалу надо до света по-пасть.

Комнату освещала довольно яркая керосиновая лампа. Николай по-кошачьи невесомо ступал по половицам. Боялся разбудить детей, спящих в смежной комнате за занавеской.

Невысокий, гибкий, с прищуром зеленоватых глаз и экономными крадущимися движениями, Николай напоминал лесного хищника, за мягкой неспешностью которого прячутся пружинная стремительность и расчет. Таким, видно, и надо быть лесному человеку: неслышным и настороженным. И хотя ходил по комнате, снаряжаясь в дорогу, мысленно был уже там, в лесу.

Дом Николая затерялся среди лесистых хребтов, в узком ущелье с благодатными лугами и скальными кручами. Недалеко, правда, змеится дорога в дальние горные совхозы. Но машины тут останавливаются редко летом. Чаще зимой, когда перевал заметают снегом верховые ветра и дорога местами становится непроезжей. Изредка у него ночуют шоферы, ожидая попутного трактора. Охотники же из-за дальности и трудности пути

почти не наезжают к леснику. Вот и рад он свежему человеку. Угощает соленьями, вареньем из лесных ягод и спрашивает про городскую жизнь. Все-то ему интересно: какие фильмы идут, много ли продуктов в магазинах...

— Расскажи, Николай, как ты в Барнаул ездил, — улыбается его жена лукаво.

— Да ну тебя, — отмахивается тот, смущенно рассказывает: — Приезжал как-то. На неделю. Пару дней вытерпел, а больше не смог, — виновато чешет затылок. — Машины так и спуют, людей шибко много. Шумно и суетливо. Тесно мне там было, будто малую рубаху надел.

Все смеются, и он тоже. Потом просит:

— В городе-то больше нашего знают. Расскажи, как там во Вьетнаме...

Детей давно спать уложили, а Николай все сидит за столом, подперев локтем голову, и слушает и спрашивает про всякие новости. И верно, до утра бы просидел, да вставать рано.

Николай надел куртку, почти сизую, отбеленную дождями и солнцем, с зеленоватыми нашивками лесника. Снял со стены ружье с тонким длинным стволом, подпоясался патронташем.

— Рыси забредают, — шепнул он. — Расплодись — прямо невозможно. Напасть какая-то. Недавно я обход делал, делянку под вырубку столбил. Гляжу, в ложине следы свежие, рысьи. Возьму, думаю, зверя. Ну, и вдогонку. А он, хитрюга, обогнул холм и за мной же крадется. Собак при мне не было. С собаками-то не всегда с руки. Бывает, одному способнее. Идешь себе тихонечко, приглядываешься, прислушиваешься. Зверя и птицу видишь, повадки их высматриваешь да замечаешь. Душе от этого удовольствие и польза. С хорошей-то собачкой, понятно, можно ходить, ежели ученая. А вот мне с собакой все не везет.

Николай присел на табурет, ожидая, пока мы оденемся и Боря соберет сумку с аппаратами и объективами.

— Годков десять назад взял я щенка, — продолжал он, — ничего собачонка оказалась. На глухаря, на лису, на белку шла. Прямо умница. Лишний раз не залает. — Вздохнул.

— Потерялась или?..

— Нет, и теперь при мне, да уж не та. Пустишь ее по следу, поплутает, поплутает да и вернется. Ляжет возле ног и тоскливо-тоскливо так заскулит. Животное вроде, лишено понятия, а чует: силы уже все израсходованы и нюх пропал. Старость, одним словом. Не гоню ее и не убиваю. Пускай живет, вроде как на пенсии. Заслужила. Много с ней всякого зверя добыл... Недавно другого песика взял. Тоже Дружком назвал. Имя-то удачливое, да одно расстройство с этим Дружком ходить. Сил много, а понятия ни на грош. Рванет по лесу, гонит все, что есть живого на пути. Сорока ли, заяц — ему нету разницы. Лишь бы гнать да лаять. Избавиться собирався, да ребяташки к нему привыкли. Им, видишь, жалко. Ладно, думаю, пускай остается. Учить буду, может и получится что. Помощник в лесном деле нужен мне. Особенно ночью.

✓ — Страшно одному?

— Не в страхе дело, в тоскливости. Страх можно разумом приглушить, рассуждением. Тоску тяжелее сломить. А когда с тобой в лесу еще кто-то живой — веселее. Собака — она и согреет и голос подаст на зверя. А в тот случай я, значит, без собаки был. Один. Иду, иду по следу, и на душу беспокойность легла. Всегда ведь чуюшь, когда за тобой кто-то следит. Шел, шел да и обернулся. А рысь шагах в двадцати стоит и на меня глядит. И как лапу переставляла, так с поднятой лапой и замерла. Как бы растерялась.

Николай вдруг прислушивается, поднимается с табуретки, торопит нас.

— Ну, а рысь? — спрашиваем в голос, не понимая его внезапной спешки.

— А что рысь... убил. Вреда от нее лесной живности много. Глухарей на токах несчетно ловит. Тот распушится, начнет чурфыркать и только в азарт войдет, рысь его — хватить. Чабаны жалуются: во время окота рысь свирепствует, — шепчет Николай и торопливо идет к двери, неслышно ступая старыми кирзовыми сапогами.

— Па-ап! — вдруг доносится из соседней комнаты. — Па-ап, возьми!

Николай укоризненно смотрит на нас. А восьмилетний Сашка уж рядом с ворохом одежды.

— Подкараулил-таки, — улыбается отец. — В голо-

се его нет недовольства. Наоборот, нотки еле сдерживаемой радости и одобрения. Сашка, уловив благонастроенность отца, быстро натягивает рубашку и штаны.

— Нет, сынок, в другой раз. Дядя, — кивает на Боря, — будет глухарей фотографировать. К птице близко подползаты надо. А когда много народу, сам знаешь, какая охота.

Сашка просительно поглядел на нас, но отец взял сына за руку и увел спать.

— Хлебом не корми — лишь бы в лес, — смеется отец молодым лицом. — Недавно всю ораву на токованье ночью водил. Всех пятерых, даже младшенькую.

— Пятилетнюю-то? — неподдельно удивились мы.

— А что, пускай сызмальства к лесу привыкает. Сгодится в жизни. Лес — он, знаете... — задумался, подбирая подходящие слова. Десять лет на лесной работе. За эти годы так привык, что другое дело и окружение показались бы неудобными, лишенными всякого интереса.

Все у него от леса. Дом, в котором ни зимние морозы, ни летняя жара, ни осенние нудные дожди не страшны. Мясо, травы съедобные и избавляющие от болезней, грибы, ягоды; чай — и тот из бадановых листьев. Радости и печали — все лесом предопределяется. Нутром Николай понимал значение леса, а слова не давались.

— Лес, он знаете... — и только махнул рукой бессильно, досадуя на себя.

На дворе было темно и тихо. Звезды не проклюнулись сквозь невидимые, туго спрессованные облака, и поэтому небо казалось низким и тяжелым. Сгустками черноты проступали близкие домишки маленького села. Света — ни в одном. Какой резон людям в глухую ночь не спать и жечь керосиновые лампы? Тут и днем-то делать нечего.

Громко лая, к крыльцу подбежала собака. Лесник добродушно отогнал ее. Вывел из конюшни служебную лошадь Сёмиху. От нее шел дух теплой конюшни.

Приласкал лошадь, кинул на круп два полущубка, чтобы в скрадке отогнать утреннюю дрожь, и мы двинулись к перевалу.

Впереди — Николай ведет Сёмиху и щупает ногами дорожную колею, вдребезги разъезженную куяганскими машинами. Следом — мы. Идем молча, бережем ды-

хание, спотыкаемся на льду. Под ногами тьма-тьмушая. Торопимся, боясь отстать от ходкого проводника.

Где-то сбоку по чуть синеватому оттенку угадываются горы. Молчаливые и сумрачные. Дрожь прокатывается по телу, как представишь там себя одного. Стараясь не представлять. Молчим. И Николай молчит. Изредка оборачивается с одним и тем же вопросом:

— Устали? А то лезьте на Сёмиху.

— Нет, — отвечаем, — не устали, — хотя в висках стучит от тяжелой ходьбы и высокогорья. Усталость удваивается, когда не видишь, не знаешь конца пути и не представляешь себе, как надо расходовать силы. Но перед лесником не хочется показать слабость. Он виду, может, и не подаст, но усмехнется в темноте снисходительно: дескать, городские, что с них возьмешь... Им на асфальте способнее...

Наконец Николай разгадал нас. Остановил Сёмиху, расправил лохматый ворох шуб на ее спине.

— Лезь, — сказал Боре, отягощенному аппаратами. — Ездил верхом-то?

— Ездил, — ответил Боря. — Нерешительно потоптался, поправил на лошади ерзающую шубу. — Подсади, — шепнул мне.

Я обхватил Борю за ноги, поднатужился, поднял. Сёмиха от нас шарахнулась.

— Испугалась, — засмеялся лесник.

Но из положения мы все-таки вышли. Николай поставил лошадь в колею, а Боря взобрался на снежный ком и отчаянно прыгнул на круп Сёмихи. Умогнулся, взялся руками за гриву — седла-то не было — и стал ждать, когда лошадь пошагает. Но лошадку верховая езда не устраивала, и она стала танцевать, избавляясь от седока. Это ей удалось сразу. Боря молча скатился в колею, держа на вытянутых руках свою драгоценную сумку.

Николай стал корить лошадь, успокаивать. Но мы в голос сказали, что совсем не устали и пройти пешком по свежему воздуху очень даже полезно.

Про нетяжелое житье Сёмихи нам еще в Алтайском секретарь райкома комсомола Петя Тырышкин рассказывал такой случай.

Однажды в лесхозе на Николая нарисовали карикатуру в стенгазете. Какой-то самодеятельный не слишком

талантливый, но приметливый художник изобразил Краева, везущего на спине в гору свою лошадь. Николай в то время был в лесхозе. Видел рисунок и смеялся вместе со всеми.

— Что ж ты, Коля, — спросили его товарищи, — кобылу держишь, кормишь, а ходишь пешком?

— Жалко животину, — под общий хохот серьезно ответил Краев. Теперь мы сами убедились в этом и старались шагать бодро, чтобы Николай больше не предлагал лошадку столь нежного воспитания.

Впрочем, перевал близок, это чувствуется. Горы остаются внизу, в сплошной черноте, а здесь чуть светлее и ветерок потуже. Идти легче стало, подъем кончается.

Наконец, лесник свернул с дороги на еле приметную, может, даже им самим протоптанную в снегу тропку, и мы оказались на перевале.

Небо над головой еще темное, но горизонт светлеет далеким восходом.

— Притомились? — Николай сбросил шубы на снег, пригладил рукавицей запотевшую шерсть лошади и привязал ее к дереву на длинную веревку, давая возможность кормиться у стожка сена.

— Скрадок уж рядом. Во-он там, в кустах.

Мы забрались в искусно замаскированный шалашик, устланный сеном. В передней его части проделаны неширокие отверстия. Краев подправил их. Потом наскреб под себя сухой подстилки и стал устраиваться поудобнее. То же самое сделали и мы. Окопались в сене и по-лесниковски ноги опустили в углубление, чтобы не затекли.

— Разговаривать потихоньку можно, — сказал Николай шепотом. — Двигаться — боже упаси. Так что не шевелитесь. Скоро объявятся должны.

Мы затаили дыхание и стали глядеть в отверстия шалаша на близкие кусты. Склон был южный, солнце днем здесь щедрее, и оно обнажило землю от снега. Там, как сказал Николай, самое токовище.

Мы боялись шевельнуться. Было в этом напряженном сидении что-то от первобытных наших предков, сливающихся с зарослями в ожидании добычи. В эти минуты я завидовал Николаю.

Лесник острее чувствует окружающую природу. Глаз его цепче хватается за ночные тени. Слух различает да-

лекие, не ясные для нас звуки. И не просто различает, а реально представляет источники звуков и сразу определяет свое отношение к ним: равнодушное или заинтересованное. Природа благодарит верного ей человека и возвращала ему то, что навеки потеряно для других, оторванных от леса людей. Но почему я, городской житель, не отличающий ели от пихты, тоже затаился в ожидании, тревоге, мышцы напряглись, и прижимаюсь к земле, стараясь быть незамеченным? Ведь не на промысел пришел. Ни мяса, ни шкуры от лесных обитателей мне не надо. Почему же кровь будоражится от слабых лесных криков и писков? И сладко и жутко сжимается сердце? Может, и через века просыпается первобытный инстинкт, слабый, как эхо, но все еще связывающий человека с природой и не обрывающийся совсем?

Было торжественно и тихо. Кроны берез и лиственниц еле заметно проявлялись из тьмы, а размытые контуры гор обретали дневную четкость и уже не пугали неизвестностью. Наступал тот предутренний час, когда все живое затихает до первого солнечного луча, копятся силы для криков, свиста, рычания, для погони за слабыми, для защиты, для ярости и нежности, для добывания корма и продолжения потомства. Рубеж между днем и ночью. Томительный, тревожный и радостный.

— Вон старая засохшая лиственница. Видите? — горячо зашептал Николай. — Возле нее пролетели глухари. Парочка.

Мы поглядели на лиственницу, но ажурная паутина ее ветвей была прозрачной.

— Может, не прилетят больше? — заопасались мы.

— Прилетят, куда денутся, — успокоил лесник. — Они тут всегда токуют. До двадцати штук иной раз собираются.

— А если на этот раз другое место найдут для тока? Лес-то большой, полян вон сколько.

— Лес-то, верно, большой, — сказал со значением Николай, — и полян хватает, — продолжал почти сердито, — да только у каждой птицы, зверя свое любимое место. Красивше есть, а роднее — нету. Где первое гнездо или нора — там и дом... Да что птица... Возьми человека... К примеру Баранчу нашу. Трудно жить в ней стало. Вишь, к хорошему быстро привыкаем. Горит, ска-

жем, в избе электричество — ну и пусть горит. Потухло — забеспокоились, заворчали: как же без света-то? Или вот больница... На что уж наши бабы всякие снадобья варят из трав да корней, и те в случае чего к врачу бегут. А школа? Детей учить негде — значит, жить тут нельзя. Дите темным вырастет. В Баранче теперь ни магазина, ничего тебе. Совсем худо. А на центральную усадьбу со слезами трогаются. — Николай обхватил колени руками. — Скажите, почему такое? Нам говорит директор, дескать, переезжайте в центр. Там и больница, и школа, и магазин, и клуб — все есть. А едут не все. Не знаете? — тихо, горько засмеялся. Приглушил смех. Глаза стали рассерженными, иглистыми, как у рыси, поднимающейся для прыжка. — Я ведь баранчинский. Мать здесь родилась. Отец местный. Мы с ним здесь все горы излазили. — Вздохнул.

— Ну вот, значит, сенокос был. Отец меня все с собой брал, приучал косить. Тогда литовкой больше работали. Это теперь техники в совхоз нагнали. А тогда бедно с этим было... Ну, значит, машем литовками, вдруг видим: бригадир бежит. Добежал до мужиков, остановился. Его все обступили. Мы косили повыше, на взгорье. Спустились послушать, что там. Отцу и сказали: «Немец напал».

Ну, помолчали мужики. Никто ничего не говорил. Пошли в деревню. Косы на плечи, будто ружья. Один за другим, как солдаты. Отец тоже... Отец на меня посмотрел, будто сроду не видел... До сих пор помню. Лет девять мне было... — Николай опустил голову. — А в срок втором сюда, в Баранчу, на сельсовет бумага пришла. Там написано, как отец по-геройски, значит, погиб... Ну, ладно, выжили мы. Я на маслозавод поступил. Женился, дети пошли. Потом в армию взяли. Отслужил. В партию вступил. Вишь, как все у меня с Баранчой связалось. Каждый кустик тут знаю, и он мне родной... Куда я уеду? — Николай повертел сухую травинку. — Много я дум передумал через Баранчу. И вот, значит, к такому пришел: не надо разгонять нашу деревню. Колхоз-то не бедный был. Люди хорошие домишки строили. Комнаты по три у каждого. А разве будет мужик на худом месте глубоко корни пускать? Не будет. У мужика — чутье. Местность тут богатая, что говорить. Покосы, папки хоть через гектар ставь.

Махнул рукой. Замолчал, выглянул наружу в сиреневый рассвет. Долго смотрел и вдруг нырнул обратно, горячо зашептал:

— Вон они, голубчики. А вы сомневались. Сидят на той самой лиственнице. Не нашли, значит, места краше... Вот и мне не найти... Теперь — тихо. Они скоро на землю слетят.

Хорошо лежать на сене, завернувшись в шубу. Тепло убаюкивает. От легкого, как пух, ветерка тоненько посвистывает соломинка на ветке кустарника. Сено пахнет весенней прелью. Вдруг сквозь дрему прорывается резкий крик и хлопанье тугих крыльев.

— Чуфыр-р, чуфыр-р! — большая темная птица села на поляну, но ее что-то насторожило, и она тяжело взлетела, прошуршав над головами.

Боря не успел навести аппарат и еле слышно ругался. Он просунул длинный объектив наружу и прищипнул видоискателю, поставив палец на спуск.

— Стекло блеснуло, птица и заметила, — шевельнулся лесник. — Фотокарточка будет в газете?

— В газете. А что?

— Да ничего... — отвернулся, но неожиданно оживился: — Зря.

— Почему?

— На карточке плохо получается. Ни перьев цветастых, ни чуфырканья. Серость одна. Глухарь только живой хорош. Распушится, крылья до земли распустит. Важный такой. А дерутся — будто два живые мяча один на другой кидаются. Вот так. А на карточке будет хуже, чем даже в музее. Вишь, от карточки человек удовольствия не получит. Тут надо в лес ехать, самому смотреть да любоваться. Эх, люди... нет, чтоб в лес, на природу поехать, так они в теплые края. А разве у нас места хуже?

— Конечно, не хуже.

— Ну вот. Зачем же к морю? Сюда надо.

— Многие лечиться туда едут.

— Лечиться! — ехидно усмехается Николай. — Здесь воздух от чего хочешь излечит. А по-моему, так: людям надо чаще в лес навещаться. Только без ружья. А то другой мужик в лес без ружья и идти не может. Ему, вишь, мало просто глядеть, он с корыстью идет.

— Ты ведь тоже с ружьем.

Николай потрогал ствол ружья, отодвинул в сторону:

— Я — другое дело. Мне положено. Где вредного зверя уничтожу, где браконьера припугну. Браконьер почитательнее разговаривает, когда ружье видит.

— Ты же лесник, не егерь...

— Мне один так же сказал, только я его... того...

— Как это... того?

— А вот так, — неопределенно усмехнулся Николай. — Пошел, значит, я кедровую плантацию проверить. Она в ущелье. Поле там хорошее, земля жирная, горная. Вот и посадил кедрячи прямо в пласт. Приехали техники из лесхоза проверить. Другое бы дерево не проверяли. Сади по своему разумению. А за кедр забеспокоились. Дерево, вишь, дорогое, не гниет, не портится. Сосновая или березовая бочка сезона три—четыре используется. Кедровой износу нету. Это я к примеру. Ну вот, зрелый кедр заготавливают, а молодой не растет. Искореняется. Садить, конечно, садят, да он плохо принимает. Условия ему особые надо, которые еще и ученым не известны. А я в пласт посадил. Техники мне: «Землю рыхлить надо, удобрять». Я им: на воле дереву никто землю не рыхлит, а ведь растет. К тому же в рыхленной, мягкой почве грызун быстрее семена разыщет да потравит.

Техники спорили, спорили, потом рукой махнули: «Поступай как знаешь. Тебе отвечать».

Понятно, я не с потолка свой метод взял. Три года на практике испытывал. Сколько книг перечитал... Так что шестьдесят молоденьких кедров выходил. Стоят в ущелье возле Царь-Пихты, зеленеют. Поглядеть любо.

— Что за Царь-Пихта?

— Это я так местность зову. Пихта там растет метров двадцать высотой, а вокруг нее молодая поросль. Пихта стройная, а молодь — как игрушечки. Со стороны большая-то царевна царевной. Завтра, если желаете, сходим, покажу... Ну вот, пошел кедряч проведывать и наткнулся на браконьера. Тот на козлов промышлял. Вишь, весна, нижние склоны подтаивают, травка пробивается. Зверь на высокогорье проголодался. Претит ему сухая прошлогодняя трава. Он и спускается вниз за витаминами... Браконьер — мужик здоровый такой. Увидел меня — и ходу. По чаще медведем прет. Было от чего уходить. Двух козлов свежевал. Я, значит, за ним. Места лучше знаю, обошел. «Стой!» — он остановился.

Руки в крови и шерсти. Улики. «Ты что, говорю, не знаешь, что козел запретное животное?» «Фу, — говорит, — напугал ты меня, лесник. Показалось — егерь». «А тебе легче, что я лесник?» «А то как же, — смеется, — егеря за зверей ответ держит, а ты за лес. А раз я деревьям вреда не принес, ты не допрашивай и ступай, куда шел». Разозлил меня. Давай, приказываю, ружье и бумаги. Глаза у него нехорошими стали. Вижу, рука, что ружье держит, напряглась. Пропасть можно, если не действовать. Делаю на лице испуг. Гляжу мимо него, будто там невесть что увидел. Он оглянулся. Я разом ружье вырвал и отскочил. Мужик обмяк, а крыть нечем.

— Садись, — приказываю, — на пень. — Николай тихо засмеялся, сузил зеленые глаза. — Целых полчаса ему лекцию про лес читал.

— Лекцию?

— Ага. Все рассказал. А начал так: «Дерево — еще не лес, а древостой. Лесом называется древостой, в котором живут звери, птицы». Не знаю, может, и не поученому, зато верно.

— И он слушал?

— Сначала перебивал, матерился. Потом вроде даже заинтересовался. Да и вправду, какой лес без живого? Кедровка орехи в землю прячет — деревья возрождает. Дятел червяков выколупывает, деревья лечит. Каждая тварь лесу пользу приносит. Так уж все устроено: одно без другого не живет. Искоренишь живое — лес захирет. Все притерто, подогнано...

Я поглядел наружу на недалекое сухое дерево и увидел двух глухарей. Они сидели на прогнувшейся ветке и, вытянув шеи, глядели на наш уже размаскированный утренним светом шалашик.

С других полян неслись страстные крики и самозабвенное брачное пение лесных петухов, влюбленных, драчливых.

— Это далеко отсюда, — пояснил лесник, — и глухари там другие. Мы тоже хотели, чтобы наши птицы не улетали токовать на чужие тока.

— Может, еще прилетят, — бодро сказал Боря.

— Должны, — не очень уверенно поддержал Николай.

Солнце, свежее, еще не яркое, медленно протянуло трепетные щупальца из-за пламенеющего края горы, и

над сеткой ветвей еще не набравших лист берез вспыхнул золотистый ореол. Каждая веточка высветлилась и заиграла радужно.

И, будто по сигналу, засвистело и запищало вокруг пестрое птичье население, радуясь новому утру, которое принесет заботы о корме, а некоторым гибель от пернатого или иного хищника. Но утро рождало новый день, и ему радовались все.

Солнце золотым прожектором поднималось все выше и обнимало лучами горы, деревья, зверей, птиц, каждую травинку.

Два глухаря, качнув ветку, улетели куда-то в чащу. Николай проводил их просветленным, без сожаления, взглядом.

— Нарушили мы им праздник, — только и сказал, стряхивая с лесничьей куртки шерсть от шубы и мелкую соломку.



ТАЙГУН

Я плотно прикрыл за собой дверь, чтобы не настало за день, воткнул в пробой палочку и, шелестя жухлой травой, пошел через поляну к соседу.

Солнце еще томилось за горами, нетерпеливо сверлило кедрач на перевале золотым прожектором, а ниже, в глубоких сырых ущельях за озером, было еще сумрачно, сине. Воздух, густо настоенный на осенней прели, с ночи был студен, и я поежился после топленой избы.

Во дворе у соседа жена его, широкая в кости Степанида, готовила болтушку, покрикивала на собак низким голосом.

— С утра пораньше? — пошутил я.

— Пропади они, змеи! — живо откликнулась Степанида, размешивая веселкой в ведре вареную картошку с мукой. — Сами кобели да собак развели!

— Много имя не давай, — предостерег из сеней Нефед. — Окормишь, работать не будут.

— Ишь чо! Много не давай! Я вот как подхвачу тебя отсель со всей сворой, не знаю, куда бежать станешь. — Обернулась ко мне. — Три ить штуки, да Пулька вон гулять примеривается. Куда их столько? Успевай корми. Я бы лучше вместо них поросенка держала.

Из сеней вышел Нефед, не старый еще мужик, в бре-

зентовой куртке, подпоясанный патронташем. Прислонил двустволку к косяку двери, взял от жены ведро. Сел на ступеньки крыльца, позвал ласково:

— Катаня... Иди, милый. Не слушай глупую бабу. Поросенка бы она вместо собак держала. А того не поймет, что с поросенком белковать несподручно. Поросенок тебя кормить не станет.

Молодой рыжий Каштан, который нахально крутился возле самого крыльца, понимая, что он любимец хозяина и первая очередь будет его, обрадованно завихлялся, сунул морду в ведро. Ел Каштан неспешно, истоиво, время от времени поднимая голову и с превосходством поглядывая на других собак.

Возле него, повизгивая от нетерпения, как на пружинках, прыгала миниатюрная Пулька. Удивительно изящная, кокетливая собачонка. Шерстка снежно-белая, глазки черные, с поволокой, на редкость выразительные. Пулька заискивающе смотрела на Каштана.

Старый вислоухий Тайгун, лежащий возле заплота, обиделся за Пульку, стал медленно подниматься, косясь на Каштана.

— Куда это он? — недовольно поглядел на него хозяин, и Тайгун, протяжно, по-стариковски вздохнув, покорно лег.

Пулька и Каштан целыми днями носились по поляне под окнами моего дома. Тайгун соскакивал с завалинки, стоя неподалеку, ревниво наблюдал за Каштаном умными желтыми глазами. Наконец не выдерживал, подбежал к Пульке, грудью загораживал ее от молодого, ловкого соперника, глухо рычал.

Каштан отворачивался, вдруг принимался что-то искать в траве, уходил подальше и там разгребал лапами землю, суетливо принюхивался — подманивал любопытную Пульку. И все начиналось сначала. Они возились, гонялись друг за дружкой, немного мусолили друг дружку загривки и совсем не замечали Тайгуна, пока он не напоминал о себе.

Нефед ласково оттолкнул любимца.

— Ну, будет, будет. Опосля тайги накормлю от пуза.

Облизываясь, Каштан отошел, его место заняла Пулька, которая, встав на задние лапки, чуть ли не до половины перегнулась в ведро. Ела она по обыкновению немного, и скоро ведро досталось Тайгуну.

Нефер перекинул за спину ружье, и мы пошли к берегу. Впереди бежали Пулька и Каштан. Тайгун оглянулся, оставил еду и большими, неуклюжими скачками догонял нас.

— Этот-то куда? — крикнула Степанида. — Привязать его ли, чо ли?

— А, пускай с нами, — разрешил Нефед.

На берегу готовно покачивалась на мелкой волне наша дюралька с подвесным мотором «Москва». Пулька с ходу прыгнула в лодку, легла на решетчатый настил возле багажника, где было ее излюбленное место. У Каштана своего места еще не было, и, бестолково покрутившись, он устроился рядом с Пулькой. Однако подоспевший Тайгун по-хозяйски отогнал его за скамейку.

Озеро было спокойно, и скоро лодка благополучно ткнулась в песок незаповедного берега, где мы с соседом промышляли. Лодку мы вытащили на сухое, чтобы крупные волны, которые появляются здесь всегда неожиданно, не смыли бы дюральку, и если на ствол поваленной сосны перекурить и осмотреться.

Нежаркое солнце выползало из-за перевала, осветило впадины и ущелья, и пора было взбираться по узкой тропке в гору, до самого перевала, где раскинулась верховая кедровая тайга, богатая промысловым зверем.

Нефед задавил сапогом окур, встал.

Зарядил ружья: один ствол дробью — для белки, другой пулей — на всякий случай: тайга есть тайга.

— Ну, чтоб ладно было.

Голос у Нефедки вильнул. Он посмотрел вверх, на изломы скал, перевитые черными кустами опавшего маральника, судорожно перевел дух.

Этими словами он начинал каждый сезон. И хотя сейчас мы шли еще не промышлять, а узнать, держится ли в кедряке белка, мне понятно было волнение Нефедки. Сейчас он больше всего переживал за Каштана. Тайгун в прошлом году едва сезон дотянул. Чутье у него заметно село, часто терял след, и, если бы не Пулька, быть бы соседу с пустой сумой.

Чуткость Пульки поражала. Иной раз среди ночи раздавался ее залихватский как колокольчик, голос. Ей откликнулся грубоватый, раскатистый лай Каштана и сипловатый, будто простуженный, Тайгуна. Значит, медведь опять шарится поблизости. Мы лавливали рыбу и

коптили впрок; пропитанные рыбьим духом доски коптильни и манили медведей, не давали им покоя. То один заявится, то другой, а как-то пожаловала медведица с медвежонком.

Стрелять их нельзя — заповедник. Только собаки и спасали наше немудреное хозяйство от разорения — отгоняли медведей. И не было еще случая, чтобы Пулька первой не известила о приближении непрошенных гостей, которые понимали, наверное, что худого им тут ничего не сделают.

Но как бы хороша ни была Пулька, а сучка есть сучка. Загуляет не ко времени — прощай охота. Нефед отпросился в конторе, поехал в город, в лаечный питомник, и привез Каштана. Дорого щенок обошелся. Двадцать пять рублей отдал, да выпил полтора литра водки собаководам из питомника. Щенок, правда, всеми статьями вышел, и родословная хороша, да чем черт не шутит. Вдруг да не станет работать. Бывают случаи.

Полезли на перевал. Около часа убили на это, порядком взмокли, пока показались округлые кроны кедров. Еще раз перекурили. Нефед всего две—три затяжки сделал и затоптал самокрутку. Его трясло от азарта. Поднялся с кедровой пружинистой подстилки, по-особому глянул на Пульку и выдохнул:

— Работай!

Собачонка мгновенно напряглась. Озабоченно повертела головой, оглядывая вершины ближних деревьев, и замелькала меж стволов.

Тайгун возбужденно фыркнул, прочищая ноздри, и, ломая мелкий кустарник, унесся в кедряк, но не туда, куда Пулька, а чуть в сторону. Каштан недоуменно посмотрел ему вслед, вильнул хозяину заломленным набок колечком хвоста, ожидая ласки.

Нефед настороженно, остро на него смотрел.

— Работай, Каштан! Работай! — и показывал рукой в пустоту тайги, куда убежали другие собаки.

Каштан бежал вокруг нас, обнюхал замшелое подножье сухостойной осинки и, подняв лапу, помочился.

— Издеваешься, зараза? — побелел Нефед. Схватил хворостину, огрел любимца вдоль спины. Тот от неожиданности взвизгнул, прижал уши и кинулся в тайгу.

Скорым шагом мы углублялись в кедряк и скоро

увидели Пульку, работающую по обыкновению веером. Она бежала по полянке среди высокой травы, еще не прибитой зажимом, время от времени подпрыгивая. Забавно глядеть, как, поджав лапки, ушастая длинношерстная собачонка вылетает из травы вверх и, пока в воздухе, быстро-быстро вертит головой — ориентируется. И — дальше, словно белый колобок. Росточек маленький, вот и приспособилась подпрыгивать.

Вдруг Пулька метнулась к кедру так, что трава от нее — веером. Потешно переваливая мордочку с боку на бок, оглядела верхушку и стала лаять. Лаяла негромко и не залиристо — влаивала. Не спуская глаз с верхушки — тья! А сама сидит, не двигается, нас ждет.

Очень гордился этим ее качеством Нефед. Белка обычно не пугалась Пульку, с любопытством глядела на нее сверху и ждала: что будет дальше? А дальше все было просто. Нефед проходил с другой стороны и, старательно прицелившись, сшибал зверька.

Но на этот раз, не успели мы приблизиться к дереву, как оттуда донесся сильный лай Тайгуна. Нефед вполголоса выругался и ускорил шаг.

Под деревом прыгал, вставал на задние лапы и царапал когтями ствол Тайгун. Задирает вверх морду, остервенело, с подвывом, как на медведя, лаял. Темным комком с ветки на ветку металась белка, напуганная его неистовством.

— Он чо же это, змей, рехнулся? — рассердился Нефед, поднимая ствол ружья. — Так он мне всех собак перепортит.

Но выстрелить не успел. Отчаянно прыгнув, белка перенеслась на стоявшую рядом пихту. Под пихту тут же метнулась Пулька. И только Тайгун все облаивал оставленное белкой дерево, оглядываясь на хозяина. Его удивляло, почему тот не стреляет.

Нефед заторопился, занервничал, побежал, в горячке чуть не наступил на Пульку, выстрелил.

Шарахнувшись к нам, Тайгун на лету схватил зверька, придушил, отдал хозяину.

На выстрел прибежал Каштан. Нефед сунул ему белку.

— Пусть потреплет, к запаху привыкнет, зараза.

Но Тайгун не дал. Налетел, сшиб Каштана, отнял добычу.

— Вот тунеядец! — выругался Нефед, жалея уже, что не дал жене привязать Тайгуна.

Пулька к убитой белке сразу потеряла интерес, покатила, покатила между деревьев и стала облаивать невысокий разлапистый кедр с гроздьями сизых от пылицы шишек на верхушке. И на этот раз Тайгун оказался возле Пульки, громко, хрипло лаял.

Мы понимали его хитрость. Сам он уже ни верхним, ни нижним чутьем зверя не брал, да и видел, вероятно, плохо. Бегал неподалеку от Пульки, ждал, когда она найдет белку, сразу же пристраивался, «помогал», а по существу мешал и ей, и нам.

— Ты гляди, чо делает. Сучонка работает, старается, а он не дает ей, змей. А ну, пшел!

Нефед наливался злостью и уже искал глазами, чем бы огреть Тайгуна, но вдруг мы услышали неподалеку басовитое влаивание Каштана.

Нефед открыл рот, остолбенел, потом, путаясь сапогами в траве, сухой, свистящей, кинулся на голос, торопливо взводя курки.

Каштан сидел под деревом и незлобно, вроде бы даже неуверенно влаивал на невидимого в ветвях зверя. Сосед бесшумно, крадучись зашел с другой стороны. Держа ружье наизготовку, сощурившись, всматривался в густоту ветвей, откуда несло недовольное пофыркивание и ворчанье.

Хлопнул выстрел, прошуршала по веткам падающая тушка. Каштан прыгнул, клацнул зубами. Откуда-то сбоку несся Тайгун, треща валежником. Хозяин отпнул его ногой, ошалело блестя глазами, смотрел, как Каштан возится с добычей.

Нагнулся, вынул у собаки из зубов, поднял над головой за хвост довольно черного, крупного соболя.

— Видал, а? Сразу не белку, а соболишку! Мне, мол, некогда с разной там мелкотой возиться! Мне покрупнее подавай, — лихорадочно повторил Нефед и вдруг схватил Каштана, стал целовать его в морду, приговаривая: — Мы с тобой, Катаня, шороху тут наведем, а? Молодец, змей!

Даже слезы выступили у Нефед от радости. Еще бы! По приметам, если собака первым взяла соболя, значит, соболятницей будет, а это клад, не собака.

Пока мы рассматривали добытого кота, Каштан,

ободренный хозяином, азартно рыснул в кедрач. Убежала и старательная Пулька. Тайгун было тоже заспешил, но хозяин его остановил строгим окриком.

Тайгун стоял рядом, виновато и, казалось, стыдась смотрел на хозяина.

— Тайгун, поди сюда... — Нефед хлопнул ладонью по коленке.

Пес подошел с опущенной головой, ткнулся носом в ладонь, лизнул ее. Дышал часто, с хрипотцой, черная шерсть на боках слиплась от пота.

Нефед погладил лобастую голову.

— Чо, запалился? А ить раньше бегал — ероплан и только. — Повернул ко мне разгоряченное лицо. — Веришь, загонял меня, бывало. Начнет работать — не остановишь. А теперь побегал маленько и язык на плечо. Каюк, брат, отбегался, — гладил собаку Нефед. — Только и осталось на мохнатки пустить. Да и мохнатки из тебя путевые не выйдут — шкура облезлая.

— Не жалко? — спросил я.

— Жалко, конечно, — вздохнул сосед. — Да что толку. Тайга старых и слабых не любит. Нельзя мне его оставлять. Пульку с Каштаном испортит, чо я буду потом делать? Это тайга, брат... — говорил он задумчиво. — Пенсию она никому не плотит. Как хошь крутись, а не плотит. Тут либо ты, либо тебя...

Тайгун слушал, моргал желтыми умными глазами, казалось, понимал.

Вечером Нефед застрелил его.



ЛЕДОЛОМ

Перед утром с озера донесся глухой, будто взрывной удар, от него дрогнули бревна дома. Казалось, кто-то огромный освобожденно вздохнул на все ущелье, и тотчас возродился наплывающий шум. Был этот шум плотен и всеобъемлющ, обнимал избу со всех сторон, туго наполнял ее.

Братья Аржанкины проснулись. Не зажигая света, привычно нашарили сапоги возле остывшей печки, сдернули с гвоздя возле двери стеганки, вышли.

На воле дул порывистый, сырой ветер. В кромешной тьме под крутым берегом ворочалось озеро, освобождаясь ото льда. Братья взволновались, глядели под ноги, в темень, где невидимые волны взламывали ледяные поля, крошили в густое месиво, гнали далеко, к истоку Бии.

Почти полгода Николай и Михаил Аржанкины провели в безлюдье. Осенью по чернотропу ушли в тайгу и вернулись с промысла на кордон в середине февраля, где дожидалась их Нюрка, жена Николая. С тех пор томилась от безделья, заросли бородами, подолгу сжижали на берегу, глядя вдаль.

Там, в шестидесяти километрах был районный центр — Ключи, где жили отец с матерью и безмужняя сестра Варя. Но до Ключей не добраться. Идти пешком

через хребты — без ног останешься. По льду — тоже дело гиблое. Зима стояла мягкая, и озеро парило черными полыньями.

С приходом ветра-ледолома братья почувствовали обновление. Николай вспомнил запах районного промтоварного магазина, на полках которого вперемешку лежали и конские сыромятные уздечки, и транзисторные приемники. Там, в самом углу, небрежно заброшенный мотками веревок и другими хозяйственными товарами, грезился ему подвесной лодочный мотор «Вихрь». Очень явно виделся: сквозь щели грубого реечного ящика — серебристый колпак обтекателя, уляпанный салидолом. И тонкая царапина на боку от неосторожной выгрузки. Знакомая такая царапина, словно сто раз ее видел.

Давно такой мотор желал Николай, потому что его движок совсем износился, отказывал в самый неподходящий момент и по скорости ни в какое сравнение с «Вихрем» не шел. И давно бы Николай купил себе такой мотор, потому что промышлял неплохо и деньги у него водились, да жена не позволяла.

Зимой, бывало, уговорит ее, и она согласится, а весной, когда приплывут в магазин, — на попятную. Зажмет в маленьком костлявом кулачке деньги — не подступись к ней. Жадно взглядывает на прилавок и полки, где разложены вороха одежды, щупает, примеряет. А потом вместо мотора покорно тащит за ней Николай разную бабью галантерею, без которой, по мнению Николая, вполне можно было бы обойтись.

В прошлом году, по весне же, купила ему кофту, каких тот сроду не видывал. Пеструю, расписанную нездешними яркими листьями. Примерил в доме стариков перед зеркалом — хоть плачь, хоть радуйся. Как пожелаешь.

Да еще отец усмехнулся:

— Ты в ей на улицу-то не выходи, Колька. Петухи заклюют.

— Ну что вы, папа. Отсталый какой, право. Теперь это модно, — убеждала Нюрка и все нахваливала свой подарок.

Однако кофту эту Николай снял и даже в магазин носил. Да разве там возьмут назад? Рады, поди, что нашелся дурак — купил. Так и валяется до сих пор в сун-

дуке вместе с Нюркиными вещами. Глаза у нее до тряпок жадные, а того не замечает вроде, что рядиться не перед кем. Всю зиму да половину лета на кордоне проводят, вдалеке от людских глаз. А там самая милая одежда — ватная телогрейка да спецовочные штаны, которые и недороги, и сядешь в них где захочешь, беречься не надо.

На этот раз Николай решил ублажить жену. Убил за огородом пару линялых зайцев, сказал:

— Ты отдохни, Нюра. Выходной тебе сделаю.

Настряпал пирожков со свежатиной и завел старую песню про мотор после обеда, рассчитывая, что жена подобрет.

Нюрка разгадала нехитрый умысел, обрезала:

— Других дыр много.

— Да как их никогда все-то не залепишь. Все-то дыры... Без дыр-то и не бывает, — уговаривал тихим, сипловатым голосом.

Мишка в одежде валялся на постели от нечего делать. Руки под голову, глаза в потолок. Слушал нерешительный голос брата, дивился. Нюрка-то плоская, белобрысая, остроносая бабенка. И где только такую откопал брат. Ну, то, что некрасивая, — не беда. Бывает, баба красотой не выйдет, так характером возьмет, за душу ее полюбишь. А у этой и души, кажется, нет. Сварлива до невозможности. С утра заведется, с причиной, без причины ли, — гундит и гундит, будто наворачивает за то время, пока Колька тайговал.

И все-то не по ее: и как сказал муж, и как ступил. Другой мужик давно бы либо ее прогнал, либо сам ушел куда глаза глядят, а этот терпит, будто так и надо и по-другому быть не может. И ведь берут таких, как Нюрка, женятся на них. А может, такой и надо быть — настырной. Может, по-другому и не проживешь? Вон безответна Варька, так и жизнь наперекос.

Помянул сестру — сердце зашло от жалости. Любил он ее за тихость и ласковость. Сидит она, бывало, дома с вышивкой, не видно ее и не слышно, а в избе от нее будто светлее. Что ни скажешь, что ни попросишь сделать — «ладно». Одно только слово от нее и услышишь.

Ее беспомощностью и воспользовался завгар, где она работала бухгалтером, большеротый, с пролысинами

мужик. Оставил ее после смены подбить какой-то отчет, да и взял силой на засаленном дерматиновом диване, на котором редкий шофер не сживал.

Она никому ни слова ни полслова — к озеру.

Мишка пришел с работы, в гараже же слесарил, будто сердцем почуял: всегда она приходила вовремя, а тут нет ее. Кинулся искать. И почему-то напрямик — на берег. А она уж на припаромке. Веревка в руках с камнем и петлей.

Завгара он на другой день избил прямо в кабинете. Избил зверски, страшно, себя не помнил. Завгара — в больницу, Мишку — в отделение. Судили. Адвокат все допытывался:

— За что?

Отвечал односложно:

— По пьянке.

Отсидел два года.

Теперь, слушая перепалку брата с женой, ухмыльнулся.

За живое задела Николая эта ухмылка.

— А я говорю — куплю. Значит, куплю!

— Мы это еще посмотрим.

— Смотреть нечего. Кто тут хозяин?

Нюрка ехидно скривила остренькое, птичье лицо.

— Ты хозяин? Да какой ты хозяин, тюха ты!

Мишка заржал.

Тут уж Николай не выдержал, ругнул жену. Она сразу же, забрав собак, ушла к отцу на соседний кордон за восемь километров. Перед уходом грозилась:

— Ты еще придешь за мной. Поплачешь. На коленях поползаешь!

— Нужна ты мне! Сама прибежишь! — говорил ей Николай, возвышаясь в собственных глазах. Припоминал все унижения мужицкого достоинства, распался. Мотор решил брать непременно, боялся одного — пыл быстро пройдет.

...Михаил жадно вдыхал весенний воздух, хмелел, представляя, как он сдаст пушнину, купит дорогой костюм, белую рубашку, неделю погуляет со знакомыми парнями широко, вольно — даст истомившейся душе праздник, а потом пойдет устраиваться на работу в тот же гараж. Благо, слесарей не хватает, да и завгара переехали в другое село, где его еще не знают.

Мечтал, как будет жизнь свою налаживать. Сердце вздрагивало и частило, когда припоминалась белолицая, наливная повариха Клаша из леспромхозовской столовой.

До серого, промозглого утра Аржанкины ворочались на кроватях. Потом бродили по берегу, оглядывая до тошноты надоевшие за зиму дом, сарай, приземистую, закопченную даже снаружи баньку с прошлогодней польню на крыше, клоч огорода с набухшей, готовящейся рожать землей.

К полудню по мутной, густой воде приплыл Митрич, приемщик заготпушнины. Митрич привязал моторку к коряге, легко, без одышки поднимался на взгорок, где братья что-то ошалело-радостное кричали первому в эту весну человеку.

Приемщик — мужик в годах. Не толстый, и не скажешь, что худой. Широкое лицо чисто выбрито, цвета здорового, как это бывает у людей, много времени проводящих на природе и некурящих.

Глаза у него были удивительные: прозрачные, серые, детски чистые, в которые заглянешь, и отчего-то застесняешься. Был Митрич в зеленом дождевике поверх стеганки. На боку кирзовая сумка.

В избе Митрич покосился на незаправленные кровати, на грязный, заваленный сухарными огрызками и костями стол.

— Баба-то где твоя, Николай?

— А-а, подалась к отцу, — неохотно ответил тот.

— Чего так?

— Осердилась.

— Нехорошо, Николай, нехорошо... — Митрич покачал головой, неодобрительно косясь на Михаила. — Ты ее должен понять, бабу-то. Легко ли ей тут с двумя мужиками. Вас ведь накормить, обстирать надо. А хорошего слова от вас, поди, не дождешься.

— Ты нас не жалея, ё-моё, — перебил Михаил, начиная почему-то злиться. — Надо будет, сами пожалеем.

— Ну, шут с вами. Как хотите.

Митрич снял шапку, плащ, повесил их на гвоздик у двери. Сумку нацепил поверх телогрейки. Он оказался начисто лыс, только у висков рос редкий гусячий пушок.

Сдвинул рукавом сухари на середину стола, сел на табуретку, протяжно вздохнув.

— А я намаялся, покуда до вас добрался. Плыву, а лед так и шебуршит у бортов. Не дай бог, что с мотором, так и затрет льдами, утопит. Душой весь перемаялся... Поднесите гостю-то.

Аржанкины дружно захохотали. Они и вкус водки забыли.

— Бедно живете, — ласково улыбался Митрич. — А все почему? Потому что русский мужик задом умен. Сколько ни запасет, а все до весны не хватит. Так нет, чтобы сказать: Митрич ли, черт ли, дьявол, привези нам по весне. Я бы привез. Вон тесть твой, Николай, заказал. Везу ему парочку. В лодке лежат. Как огурчики. Не могу отказать, когда просят. Душа у меня такая, через нее и маюсь.

— Во дает, ё-моё, — обрадовался Мишка. — Да я принесу.

— Как это ты принесешь? Человек заказывал с осени.

— Уважь, Митрич, — попросил Николай, искательно заглядывая в светлые, сочувствующие глаза.

— Че мне с вами делать? — думал вслух Митрич. — Отдать уж ли, че ли? И тестя твоего, Николай, обидеть не хочу, да и вас жалко. Это ведь надо — целую зиму без выпивки. Ладно, мужики, отдам.

Он сам сходил на берег.

Мишка торопливо прибрал на столе. Нарезал желтого сала, достал из подвешенного к потолку мешка сухарей, вымыл стаканы.

Братьям Митрич налил по граненому, себе плеснул чуть на доньшке. Бутылку аккуратно закупорил пробкой.

— Зачем? — хмыкнул Мишка. — Еще пить будем.

— Когда будем, тогда и откроем. Чего добру выдыхаться?

— А почему себе мало? Так не бывает. Поровну надо, — возмущился Мишка, захватывая ладонью бутылку, но приемщик прикрыл стакан.

— Куда мне, старику, с вами тягаться. Вы-то вон какие медведуски. Вам и самим не хватит.

— Че-то мудришь, дядя, — покачал головой Мишка.

Аржанкины выпили, занюхивая сухарями.

— Как прошла? — поинтересовался Митрич.

— Как по маслу.

— Ну вот и слава богу.

После водки братьям стало легко. Они спросили, как живут мать, отец, сестра Варя, много ли пушнины сдают охотники с низовьев.

— Врать не буду. На соболишек нынче урожай. По сорок, а кто и шестьдесят котов сдал. Сами-то как?

— Середне, — уклонился Николай.

Митрич налил братьям еще по стакану из другой бутылки, себе плеснул. Выпили, раскраснелись. Мишка скинул рубаху, остался в майке. На плечах и руках синела татуировка: «Не забуду мать родную», «Нет в жизни счастья», черт с гитарой верхом на луне, еще что-то.

Митрич его улыбочиво разглядывал.

— Разрисовали тебя там, однако... Поди, весь разрисованный?

— Весь! — скалился Мишка.

— И на пузе есть?

Мишка задрал майку. Там красовалась рожа во все брюхо.

— Вишь, — хвастал Мишка. — Сейчас она смеется, потому что сытая. А жрать захочу — она плачет. Узнаем по ей, когда жрать садиться. Она у меня вроде барометра.

— А сзади есть?

— Где сзади?

— Ну, там...

— А-а, есть, есть! Кочегар с лопатой. Когда иду, он уголь лопатой шурует. Показать? Со смеху сдохнешь!

— Подь ты, — отмахнулся Митрич. — Пушнинки-то много ли набил? Хватит ли на тряпки, чтобы кочегара прикрыть?

Мишка уже разошелся.

— За нас не бойсь! — Сбегал в кладовку, принес свой мешок, высыпал соболей на неметеный пол. Картинно распрямился.

Митрич нехотя склонился, небрежно перебирал шкурки одной рукой, шевелил толстыми губами. Всех соболей разделил на две неравные кучки.

Поднял светлые глаза.

— Вот за эти, — показал на маленькую кучку из пяти шкурок, — по четвертаку приму, а те, — лениво кивнул на другую кучку, — по восемнадцать. Хотя доро-

говато будет и по восемнадцать. Пролысины на меху есть. Больные коты пошли ли, че ли...

— Постой, Митрич, — осторожно вмешался Николай. — Где ты видел пролысины? Я сам Мишкиных котов раздевал. И ость и подшерсток — все на месте. Цвет опять же хороший. Ты погляди, темненькие они, бусеньких совсем мало. Давай уж по совести.

— Дело, конечно, ваше, — пожал покатыми плечами Митрич, — ежели мне не верите, сдавайте другому заготовителю. Но только скажу: нынче шибко строго принимают. Чуть где потерто — на полцены косят. А там разбирайся: об дерево кот ободрался или больной... — Помолчал. Лицо его размягчилось. — Я-то думал, сделаю вам, как лучше. Свои ведь люди. Соседи... — Укоризненно посмотрел на братьев, вздохнул обиженно. — Вот они, люди-то... Им хочешь, как лучше, а они за твою доброту твоим салом да по твоим мусалам.

— Ладно, начальник! — Мишка покачивался над грудой шкурки. — Че мы как на толкучке, ё-моё. Сколько мне причитается?

— Ну вот, это-по нашему, — просветлел Митрич. — Зачем тебе по конторам с пушнинной шляться. Я вот приду у тебя, — хлопнул ладонью по сумке. — Чек выпишу. Бывали у тебя чеки?

— От сырости?

— Ну вот, выпишу чек. Приедешь в Ключи, зайдешь в банк и чек в окошечко, как капиталист какой. Прошу, мол, мои денежки.

Приемщик опять потянулся к соболям и работал уже двумя руками. Встряхивал шкурки, дул против шерсти.

— Вот эти, как и договорились, — по четвертаку, а те тридцать шесть штук по восемнадцати...

— Тр-р, начальник. Почему тридцать шесть? А вон ту пару ты зачем не считаешь? Забыл, что ли?

— Какую пару? Вот эту? Ну, ты, парень, совсем неграмотный. — Заготовитель казался растерянным от Мишкиной непонятливости, глядел на него ясно и прямо. — Это за водку и за то, что на месте принял. Спроси брата. Он наши законы знает.

Мишка повернулся к брату.

— Это какие такие «наши»? Раньше их не было.

Николай опустил глаза:

— Придумали.

— Кто придумал? Заготпушнина? Не-ет, вижу, не заготпушнина. Может, ты, Колька, придумал? Тебе он на руку, такой закон, ты его и придумал? Нет, не ты? Ага, значит, ты, Митрич, ангельская твоя душа!

Мишка уже орал, диковато скалился. Колька струхнул, пытался его уговаривать, но тот не слушал.

— Отвали, я такие законы знаешь где видал? Я их в лагере не признавал. А тут, на воле!

— Да он пьяный, че с ним разговаривать, — тихо сказал заготовитель и поднялся. Чувствовал: самое время уйти.

— Нет, погоди. — Мишка поймал его за ворот плаща, накручивая на кулак грубую ткань. — Ты мне скажи-и!

Страшен был Мишка с прищуренными в ярости жгуче-черными, как у цыгана, глазами, со всклокоченной, нестриженной головой. По татуированным плечам перекатывались мускулы.

Митрич вдруг вырвался и с неожиданным проворством кинулся в дверь.

Мишка кинулся за ним, но брат загородил дверь.

— Че ты делаешь? Ты знаешь, че за это будет?

Они сцепились. Коренастый Мишка оказался сильнее длинного, нескладного брата. Зазвенело стекло с перевернутого стола. Падая, Николай ударился лицом о спинку кровати.

Выскочив во двор, Мишка увидел, что приемщик успел уже оттолкнуть лодку от берега и, согнувшись над мотором, торопливо дергал шнур стартера. Мишка смотрел на него секунду-другую, побежал в избу и вернулся с ружьем. Широко расставив ноги, целился.

Из избы, зажимая рукой рассеченную губу, бежал брат. Сквозь пальцы у него сочилась кровь и капала на желтую от частых стирок исподнюю рубаху.

Он ухватил ствол ружья, тянул, разбрызгивая кровь с бороды. В это время внизу, затрещал мотор и, захлебываясь, понес лодку подальше от берега. Митрич прятался за обтекателем, что-то кричал и грозил кулаком.

— Ушел, гад, — сплюнул Мишка и отдал ружье.

— Дурак ты, дурак, — плюнул кровью Николай. — За это знаешь?..

— Знаю. Да он же грабит вас, а вы молитесь на него. Ненавижу!

Вернулись в избу. Николай смыл кровь с лица, Мишка залепил ему губу пластырем. Сели на кровать, остужались. На полу валялись бутылки. В них еще была водка. Не пролилась — пробки.

— Передом живет, гад, — подивился Мишка.

Допили. Николай совсем скис.

— Ох, заварили кашу. Как расхлебывать будем?

— А ты не страдай. С тебя спросу нет.

— Это ты так рассуждаешь. А они по-другому скажут. Припаяют как соучастнику. Эх, Мишка, Мишка... Одно горе через тебя. Нюрка тот раз ушла, а теперь в милицию попадем.

— Заткнись, и так тошно. Я один виноват. Ты ни при чем.

За окном тоненько посвистывал промозглый ветер в голых ветвях. До самого вечера братья молчали, будто к чему прислушивались, и, едва стемнело, легли спать.

Ворочались и — молчали.

А на другой день приплыл на катере участковый Вася-милиционер и увез братьев в Ключи. Братья и в лодке сидели молча, сторонились друг друга, будто незнакомые.

Вася-милиционер сказал:

— Что, Михаил, надоело на воле? Назад потянуло?

На это Мишка никак не отозвался, а Николай осуждающе покачал головой и вздохнул. Для Васи.

Вася отпустил братьев к старикам, велел никуда не отлучаться, ждать, когда вызовут.

Тосковал раньше Мишка по дому, а теперь, не раздеваясь, сидел в родной избе, как в гостях. На лавке. Будто и не дома, а на вокзале, когда ты вроде бы уже и не здесь, но еще и не там, куда едешь. Нигде. В пространстве.

Мать и раньше была маленькая, иссохшаяся, а тут совсем сморщилась от нового горя. Плакала сухими глазами. Слез не осталось.

Отец, еще крепкий мужик, леспромхозовский охотник, сидел у стола, подперев руками голову. Варя, потускневшая, с красным от слез лицом, молча сидела на койке.

— Что же мне с тобой делать, Мишка... — чужим, натужным голосом говорил отец. — Ведь до чего дожил. Иду по улице, а на меня все зыркают, как на чуду ка-

кую. И Кольку вон впутал. А у него — жена. Теперь и его потянут.

— Никуда его не потянут. Скажу, один виноват.

Тягостно было в доме, и Михаилу хотелось, чтобы поскорее пришли за ним, увели, чтобы все поскорее встало на свои места, чем мучиться в неопределенности.

Мать вызвала отца в сени, и сквозь дверь слышно было, как что-то шептала ему, всхлипывая. Отец басил одностонно и редко, как бы не соглашаясь, потом замолчал.

Вскоре мать накинула шаль на жидкие седые волосы, торопливо ушла. Вернулась она не одна. Зайскиваяще и жалко улыбаясь, пропустила впереди себя Митрича. А он, не переступая порога, говорил скорбно:

— К вам теперь и заходить боязно. Того гляди пальнете или ножом пырнете.

У Мишки затвердели скулы, горячо под сердцем ворохнулась злость, но он затенил глаза под ледяным отцовским взглядом.

— Заходи, заходи, сосед. Никто в моем доме тебе худого не сделает.

Митрич прямо в телогрейке прошел к столу, сел на табуретку, выжидательно глядя на отца. Потом перевел глаза на плачущую мать. Сказал:

— Вот они, нынешние-то. Не знаешь, чего от них и ждать, чего выкинут. Родителей бы пожалели.

Отец хмурился, соглашаясь, кивал головой и, выждав время, заговорил раздумчиво:

— Но дак как, сосед, может, дело полюбовно закончим?

— Ты прямо сразу, — печально усмехнулся Митрич.

— А я крутить не умею. Зачем крутить?

— Эх, Кузьмич, Кузьмич... Ты сам-то подумай, как можно полюбовно, если меня чуть жизни не решили. А у меня три дочери. Осиротили бы их ни за что ни про что. Да и казенный я человек. У меня сумка с денежными бумагами. Отняли бы сумку, а самого головой в озеро. Ищи потом свищи.

— При чем сумка? Че болтаешь? — поднял голову Михаил.

— А ты сиди! — рявкнул отец. — Еще одно слово услышу, пристрелю прямо в избе, идол.

— Вот видишь, видишь, — обрадовался приемщик. —

Ему слово, а он тебе десять. А того не поймет, что держаться надо тише воды. Ведь, что про него ни скажи — всемо поверят. Сидел.

— Понимаю, Митрич, — продолжал отец глухо. — Тебе горько, а мне еще горше. Ведь мой сын-то. Какой ни есть, а жалко. Давай обсудим это дело и сойдемся по-соседски. Ну, посадят его. Большая тебе корысть с этого будет? Давай так: прими десять котов и дело завершим.

— Я бы рад, соседушка, да как его прощать, Мишку? Че мне люди скажут? В тот раз чуть мужика не до смерти убил, нонче в меня норовил пальнуть. А завтра че будет? Как такому с людьми жить? Если прощу — совестью замучусь. Кого-то безвинного под ружье или под ножик подставлю. Нельзя ему в обществе, Кузьмич. Как тут ни крути, а нельзя. Шибко уж дикий он у тебя.

— А мы его на кордон спровадим. К самым гольцам. Там, окромя зверья, никого нет. Там ему сподручно будет.

— Ой, прямо не знаю... Вася-милиционер велел докладную писать.

— Еще пять добавлю, — твердо сказал отец и пошел в кладовку.

Мишка выскочил в сени, шептал:

— Колькиных не давай. Он мотор купить хочет. Моих отдай.

— Без тебя разберусь.

— И что вы все трясетесь перед этим... — исходил злобой Мишка. — Ну доберется до него Вася-милиционер, ну доберется. Гад я буду, если не доберется!

Отец положил мешок к ногам Митрича. Мать расправила края мешка, чтобы видны были шкурки.

Приемщик задумчиво глядел в окно. И — молчал. Все молчали: ждали. Наконец, Митрич посмотрел на соболей. Рука потянулась к шкуркам.

— Ты не сумлевайся, сосед, — сказал отец. — Барахла не подсуну. Своих отдаю. Сплошь черненькие.

Тот равнодушно, нехотя помял мех в пальцах, сказал:

— Вот, Кузьмич, на волоске от смертушки был, а прощаю. Душа у меня такая. Сколько я через свою душу пережил — не рассказать.

А через день отец повез на своей моторке сыновей по кордонам. Первого высадил Николая. Он поклонился от-

цу, неловко кивнул брату, что-то хотел сказать, но не сказал, топтался, держа в руке рюкзак с подарками для жены.

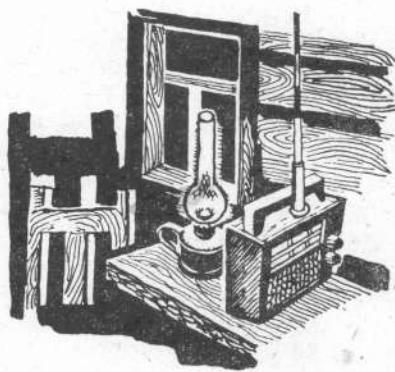
«А ведь права была Нюрка. Поплачет братка, на коленях перед ней поползает», — Михаил представил себе это и отвернулся.

Поплыли дальше, огибая каменный мыс, с которого Мишка целил в приемщика. Озеро уже полностью очистилось ото льда, колыхалось вольно, покачивая горы на горизонте.

Михаил молчал, молчал, не выдержал.

— Жалко, я не стрельнул тот раз, ё-моё.

Отец с удивлением на него посмотрел, но не обругал, только вздохнул и отвернулся, глядя на излизанные волнами черные камни, где из расщелин зеленели новорожденные листья травы.



ЛУНА СВЕТИТ, СОВА КРИЧИТ

В сених кто-то скребется, нашаривая скобу. Я уже хотел было встать и помочь позднему гостю, но пламя в лампе ворохнулось, выгоняя из углов устоявшиеся тени, и на пороге появился мой сосед Петр, тихий, задумчивый человек.

Ему далеко за сорок. Лицо у него узкое, с острым подбородком и так туго обтянуто смуглой обветренной кожей, что, когда он улыбается, кажется, ему больно, и лицо его от улыбки становится не веселым, а жалобным.

Петр здешний. Он и родился на этом таежном кордоне Кокша, названном так по имени горной речки, несущей в озеро пенно-зеленые воды. Все годы живет тут, следя за обходом, а поздней осенью, в отпуск, промышляя белку и соболя.

Ни в большом, ни в малом городе быть ему не доводилось, хотя случаи и представлялись. Приглашали его на областную конференцию охотников-промысловиков. Хотели послушать, как это Петр умудряется за месяц отпуска взять в капканы соболей больше, чем штатные охотники за весь сезон. Петр побоялся сглазить удачу — отказался. В другой раз ему предлагали путевку на курорт. Не взял. Дальняя дорога через города пугала его. И его уже больше никуда не посылали, оставили в по-

кое. В районный центр, где учились сыновья, плавал в прошлые годы.

Сыновья Василий и Геннадий оказались куда любопытнее. Василий после школы-интерната поехал учиться дальше — в Новосибирск и вернулся в родные места с дипломом биолога, хотя, говорят, его оставляли в каком-то научно-исследовательском институте. Стал он охотоведом в леспромхозовском селе Полуденном, и быть бы ему хорошим ученым по пушному зверю, да не повезло Василию. Попал на моторке в сильную волну, видать, захлестнуло. Лодку потом к скалам прибило, а самого Василия не нашли.

Геннадий после школы-интерната пошел в армию, отслужил, но домой не воротился, поступил в военное училище. Петра это и радует и печалит: хорошо, что сын становится видным человеком, но ведь для тайги он теперь потерян.

— Здоров, дружка.

Низкорослый, косолапый, Петр переминается с ноги на ногу в мягких, без каблуков маральных сапожках, щурится на свет щелочками глаз из-под припухших век. Он в клетчатой рубашке, выпущенной поверх штанов. Ворот расстегнут, видна худая грудь. Видно, наспех оделся.

— Привет, — отозвался я, хотя до самого вечера мы пилили с соседом дрова и вообще целый день виделись. Но так уж повелось в нашей деревеньке из трех домиков, затерявшихся среди лохматых гор: сколько раз встречаемся, столько и здороваемся. До ближайшего жилья от нас десять километров озером. При волне это расстояние утраивается, подолгу не видим свежих людей, и нам как-то легче, если приветствуем друг друга по многу раз в день.

Петр прошел к печке, сел на лавку, достал из кармана трубку, кожаный кисет, стал неторопливо закуривать.

— Спать лег — сна нету. Луна шибко светит. Сова кричит. Лежал, думал, думал... Потом радио слушал. Ты сейчас радио не включал?

— Нет. А что?

— Плохо дело, дружка. Мерикинец Вьетнам бомбит. — Он торопливо втягивал дым впалыми щеками, утыканными редкой щетиной, словно серебряной проволокой. — Лежу на койке. Мне тепло, баба рядом спит.

А там самолет бомбы бросает, ребятишки плачут. Какой сон? Как могу лежать?

Я распахнул окно. Покойно кругом. Горы синие в полнеба на той стороне дремлют. Луна над ними висит одуряюще яркая. Даже не верится, что где-то воют чужие самолеты, рвутся бомбы, умирают люди. Потом я подошел к столу, за которым коротал ночь, смел в сторону акты о задержании браконьеров, показавшиеся вдруг жалкими, несущественными. Вытряхнул из фонаря последнюю батарейку, подсоединил к транзисторному радиоприемничку «Сокол», и мы стали слушать последние известия.

Далеко от нас Москва, и батарейка слабая, но мы все-таки различаем слова сквозь трески и шорохи и, чтобы было слышнее, стараемся не дышать. Потом начинается музыка, и я выключаю приемничек. В тишине курум, думаем.

— Слышь, дружка... Почему так? — Петр поднимает голову и смотрит на меня грустным вопрошающими глазами. — Помнишь, Мишка Аржанкин кладовщика из заготпушнины побил? Милиционер забирал Мишку, в каталашке маленько держал. А там пошто никакой милиции нету? Почему бомбить дают?

— Вообще-то есть такая милиция. Войска ООН. Они должны следить за порядком в мире.

— А чо не следят? Наши там есть?

— Кажется, нету, — неуверенно сказал я.

— А чо наши не пошлют? Наших бы туда, моего Генку бы туда. Они бы не дали бомбить. Спросили бы мериканца: чо тебе вьетнамцы сделали? Соболишку из твоего капкана вынули? Ступай домой, бан-дит! Моего бы Генку туда... — повторил он.

— Не все так просто.

— А чо не просто? Генке бы сказали, он бы пошел. Генка знаешь какой? — Он помолчал, задумавшись, словно прикидывая что-то в уме, и добавил: — Я бы тоже пошел.

— Куда бы ты пошел? Ты вон в город-то боишься съездить, — улыбаюсь я, но Петр шуточки не принимает.

— В город не еду — там делать нечего. Когда дела нет, зачем ехать? А там — война. Там есть что делать. Сказали бы иди, я пошел бы. Не веришь? Скажи! Сразу бы велел старухе ружье чистить, сумку складывать.

Я невольно представил, как грузная, ворчливая жена его Анна, попыхивая самодельной трубкой, чистит шомполом мужнину двустволку двадцать восьмого калибра, как сует в кожаную сумку берестяной туес с красноватым домашним маслом, чай в жестяной заржавленной коробочке, мешочки с солью, сахаром, толканом.. Но, чтобы не обидеть соседа, не улыбаюсь, а только говорю:

— Там с твоим ружьем делать нечего.

— Правда, — легко соглашается он. — Там автоматы, карабины, ракетки. Да? — Он даже языком прищелкивает, оживляется. — А карабин — это тебе не ружье? — Хороший карабин — его мечта. — Я бы с карабином-то убил тот раз волка. Думаешь, не убил бы?

Я киваю, соглашаюсь. Он вздыхает, углубленно молчит.

А случилось вот что: Как-то сидели мы у Петра в избе, чаевничали, болтали о разном. Хозяин случайно глянул в окно и окаменел с открытым ртом. По зеленой картофельной ботве, сшибая стволы подсолнухов, носился, взвинтив хвост, полугодовалый Петров бычок. За ним широким скоком, норовя пристроиться сбоку, гналась собака с толстой, неповоротливой шеей.

Но это была не собака, хотя псы иногда выгоняли из огорода телят и кур. Они гоняли нарушителей с громким лаем, чтобы хозяева увидели и оценили их старательность. Этот пес неся молча и целил к горлу. Тут мы еще вспомнили, что наш сосед Нефед уплыл на ту сторону за смородиной и взял с собой всех наших собак сгонять лишний жир — к осени они должны быть поджарыми.

— Бандит! — взвизгнул Петр, приходя в себя. Сорвал со стены ружье, пальнул в форточку.

Волк отпрыгнул от бычка, сел от неожиданности, прижав уши и клацнув зубами. Тут бы стрелять еще раз, но второй патрон оказался дробовым. Волк метнулся через заплот и исчез в тайге.

Теленка он все же успел полоснуть клыками, пришлось дорезать. Теперь ели мясо. Но сосед тяжело переживал случившееся. Бычка особо не жалел, все равно осенью резать. Но то, что волк безнаказанно хозяйничал в его огороде, считал большим позором и упросил меня никому не рассказывать.

Петр вытряхнул из трубки пепел, снова набил табак.

— Дружка, бог есть? — вдруг спросил.

— Нету, Петр.

— Ага, однако, нету, — согласился он, качая коротко стриженной седеющей головой. — Если бы был, дал бы мериканцам разбойничать? Разве дал бы Ваське утонуть? Если бы был бог, я бы сказал ему: возьми меня, Ваську отдай. Он молодой, ему бабу надо, ребятишек надо... — Петр тяжело вздыхает. — Налей че-нибудь, дружка. Грудь болит, сердце болит.

— Ничего такого нету, сам знаешь. Вот если чаю.

— Давай чаю.

Растапливаю печь, и скоро пьем обжигающий чай.

— Бога нету, а мы крещеные, — усмехается Петр и качает головой, удивляется этому. — Отец говорил: давно было, русский поп приезжал, нового бога привозил, креститься велел. Поп отцу вина маленько давал пить, крестик давал, рубаху. Ты, говорит, теперь не Анчи, ты теперь Алексей. Еще поп ехал. Отцу из ложки сладкого вина давал, крестик, рубаху давал. Ты, говорит, не Анчи, ты теперь Петр. Немного время шел, к соседям на мыс еще поп ехал. Отец вино пил, крестик в карман клал, рубаху не брал, от попа не шел. «Че тебе, сын мой? — спрашивал поп. «Рубаху не надо. Штаны дай», — говорил отец. Поп шибко сердился. «Изыди, сатана!»

Петр нахмурил брови, глаза гневно сузил, показывая, как сердился поп.

— Не дал штаны?

— Не дал. Ругал отца. Ну, ладно... Отец помолился пальцами, пошел белковать. Думал: у меня три имя, три крестика на шее, три рубахи, три бога. Три бога шибко белковать помогут. Пришел в тайгу. На тропу кедра упала, кобеля задавила. Отец плакал: «Зачем мне три бога? Они поругались и охоту испортили». Хотел крестики бросать, жалко стало, красивые. Бабе отдал. Стал отец думать: «Зачем мне столько имя? Один человек — одно имя». Про жадную сеноставку знаешь? — спросил Петр. — Не знаешь? Слушай...

Стали имуранки сено на зиму запасать. Травинки зубами грызут, возле норок маленькие стоги кладут. А жадная имуранка высокий стог класть стала, чтобы

все завидовали. Пришла зима. Маленькие стоги снег накрыл, их не видать. А большой стог — весь на виду. Марал шел, увидел стог, съел сено у жадной имуранки.

Отец знал про жадную имуранку. Говорил: «Я — Алексей, ты — Петр, а сын твой пусть Василий будет. хорошее имя. Зачем ему пропадать?» Плохой, однако, третий поп был, раз Васька утонул. Старуха ругается: «Зачем из дому пускал?» А я виноват? Поп виноват. Генке сельсовет-имя давал, он живой. Генка скоро офицер будет. — Петр лезет в карман штанов, вытаскивает толстый, замусоленный конверт. Там фотография и письма Геннадия. Письма читанные-перечитанные, но я ему снова читаю одно за другим, а Петр рассматривает фотографию сына.

Геннадий на снимке в типичной для таких снимков немного горделивой позе. Взгляд суров: как-никак воин, будущий офицер, а может, и генерал. Отец рассматривает, ищет черты своего Генки и, наверное, не находит. Вздыхает.

Тихо. Слышно, как за окном вскрикивает сова, пугая птичью мелочь.

— Я тебе мешаю, нет? — спрашивает Петр, пряча конверт.

— Сиди, Петр, мы сейчас еще чаю заварим.

— Охо-хо, — зевает он. — Ложился — сна нету. Луна шибко светит, сова кричит. Всех жалко... Почему плохо бывает? Почему зло есть? Ты не знаешь? Я тоже не знаю. Убью, однако, сову...

— А что это даст?

— Ниче не даст, — соглашается Петр, качает головой. — Совсем ниче. Пойду, однако. Спи. Охо-хо! И че она кричит, сова-то, че ей не спится?.. Не знаешь?

СОДЕРЖАНИЕ

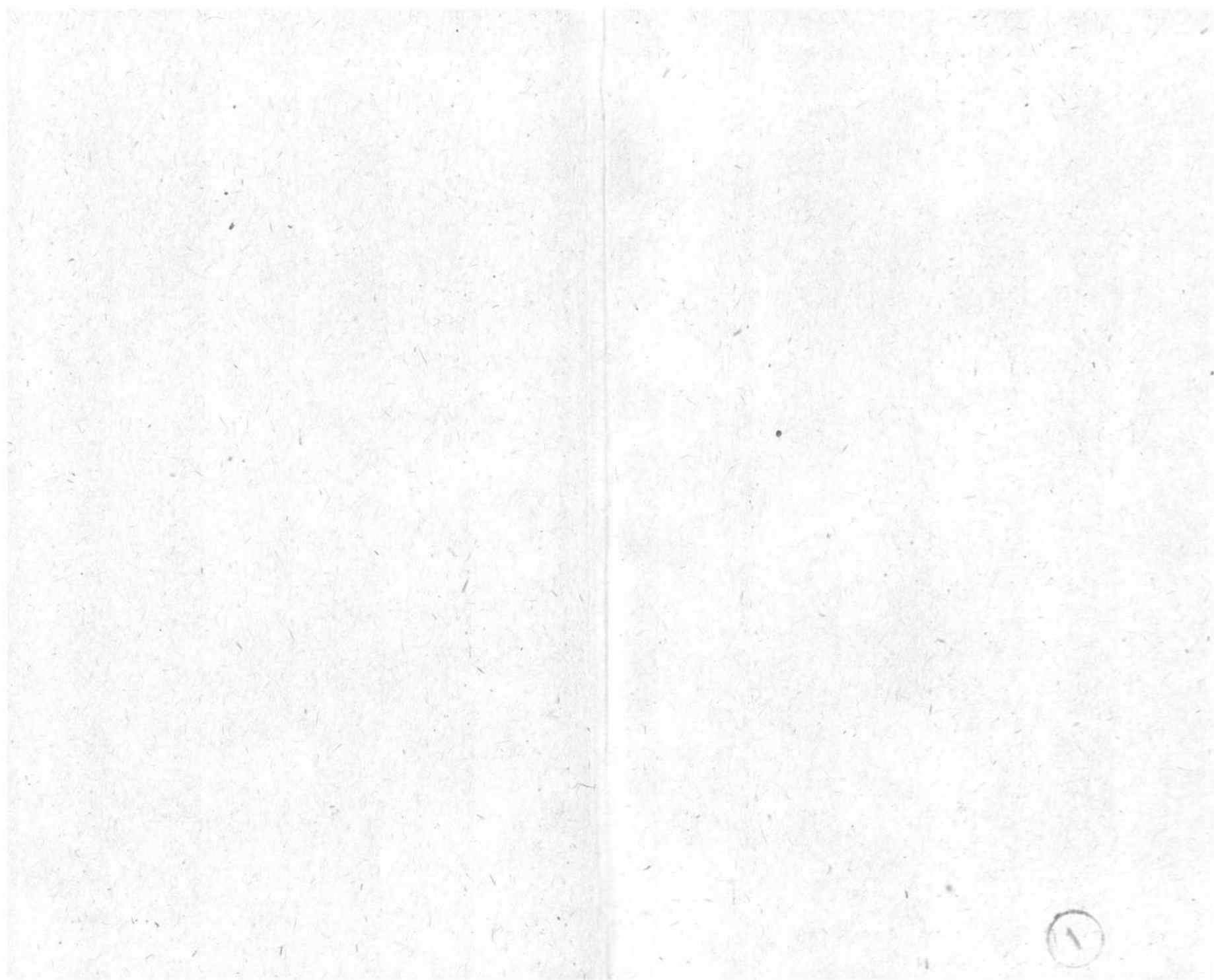
ПОНЕДЕЛЬНИК	5
ТРОЕ ПРОТИВ ЧУДАКА	11
НОЧЬЮ, В ОЖИДАНИИ ПАРОМА	18
ЧЕПИН, УБИВШИЙ ОРЛА	27
ТРАМВАЙЩИЦА	39
СТАРЫЙ ДОМ	64
СОЛНЦЕВОРОТ	77
ОДИН НА ОДИН	86
ВОЛЧЬЯ КРОВЬ	98
ГЛУХАРИНАЯ НОЧЬ	114
ТАЙГУН	126
ЛЕДОЛОМ	133
ЛУНА СВЕТИТ, СОВА КРИЧИТ	146

Гущин Евгений Геннадьевич

Луна светит, сова кричит

Рассказы

Редактор К. Саранча. Художник Б. Лупачев. Художественный редактор В. Еврасов. Технический редактор М. Сафонова. Корректоры А. Дмитриев, Г. Ульченко. АГ 00592. Сдано в набор 7. 12. 1973 г. Подписано к печати 18. 1. 1974 г. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 7,98. Уч.-изд. л. 7,81. Тираж 30000 экз. Заказ № 2549. Цена 36 коп. Алтайское книжное издательство Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — Барнаул, пр. Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, ул. Л. Толстого, 29.



36 коп.

